

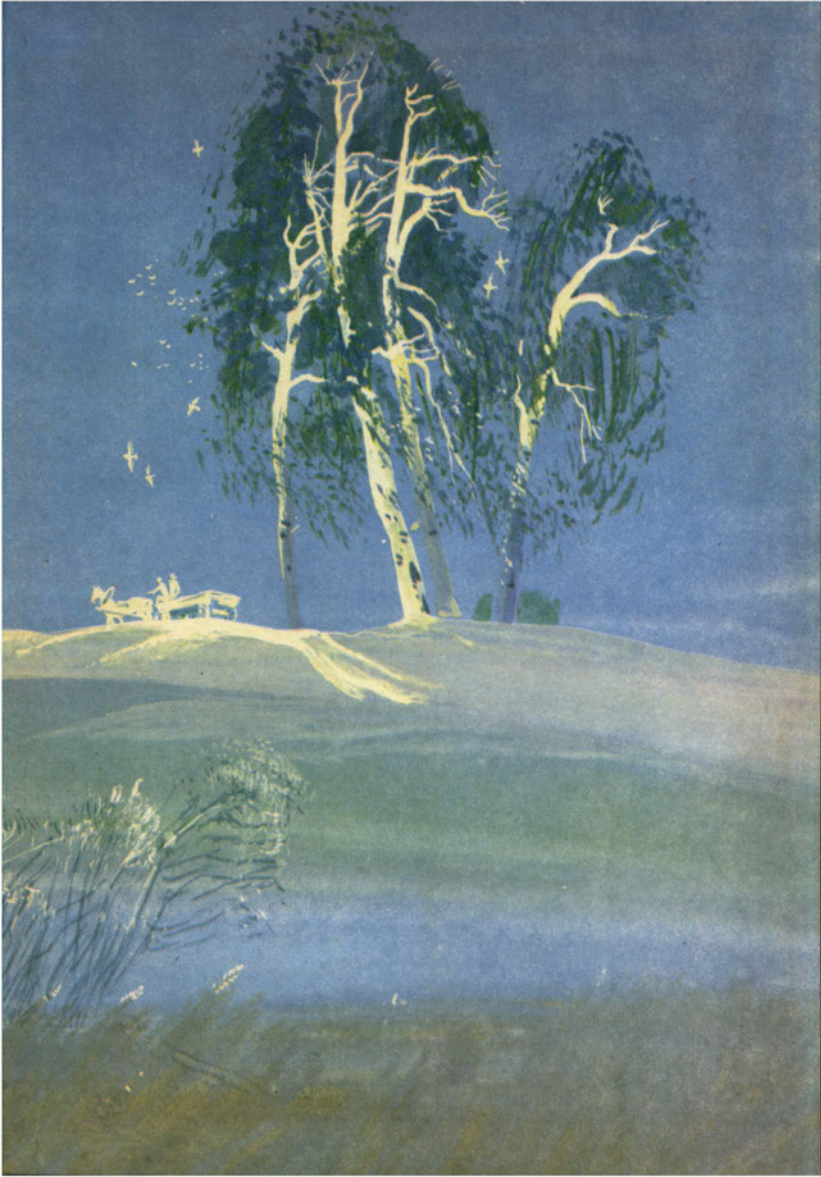
**ДЕНЬ  
РАБОТОЙ  
КРАСЕН**



Издательство  
„Детская литература“











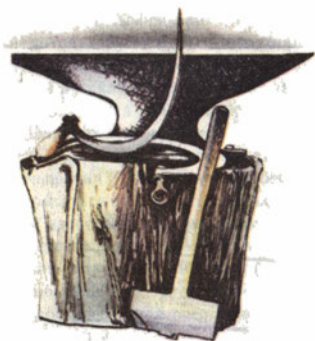






# ДЕНЬ РАБОТОЙ КРАСЕН

*Советские прозаики и поэты о труде*



ЛЕНИНГРАД  
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
1986

Р 2 мл  
Д 34

*Составитель Наталья Банк*

*Рисунки  
Клима Ли*

Д 4803010102—179 243—86  
М101(03)—86

© Состав. Иллюстрации.  
Издательство «Детская литература», 1986 г.

## ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ!

Когда мне предложили написать предисловие для этого сборника, я сразу дал согласие.

Почему? Я хорошо помню, как в детские годы хорошие и умные книжки помогали нам, мальчишкам и девчонкам, закалять характер, учиться работать и жить заботами отцов и дедов, крепко стоять на земле. Встречаясь с вами в школах, бывая на уроках труда, пионерских сборах и линейках, я убедился, что сегодня вам часто не хватает тех книг-наставников, книг-помощников, которые могли бы стать своего рода хрестоматией по Труду.

Сборник «День работой красен» в какой-то мере восполняет этот пробел, каждое произведение в нём — гимн Труду, слава умелым человеческим рукам, песня о настоящих Мастерах-Тружениках.

Андрей Платонов и Фёдор Абрамов, Леонид Пантелеев и Виктор Астафьев, Самуил Маршак и Агния Барто, Николай Внуков, Глеб Горбовский, Чингиз Айтматов — все авторы этого сборника воспевают величие и красоту Труда, мудрость высокого Мастерства. Это интересный и точный художественный рассказ о первых шагах трудового взросления, о первых испытаниях, выпавших на долю ваших сверстников. Читая эту книгу, вы поймёте, что ценность человеческой жизни определяется прежде всего тем, что сделал ты для людей. Рассказы и стихи сборника призывают к действию, все они — против бездумия и лени, бесполезной траты времени, против попыток спрятаться от дела, «отсидеться» за спиной товарища...

Будучи читателем взрослым и искушённым, я с удовольствием перечитывал знакомые с детства произведения. Вот отрывок из романа Фёдора Абрамова «Две зимы и три лета». Рассказ писателя о нелёгком пекашинском сенокосе, необыкновенно трудном, но по-настоящему праздничном, потрясает своей достоверностью, сердечностью, любовью к большой крестьянской семье Пряслиных.

В сенокосное хлопотное время мне не раз приходилось бывать в деревне, на земле белорусской. Я рад, что есть у меня там надёжные и старые друзья: землепашцы, хлеборобы, кормильцы страны нашей. Больше всего я люблю этих стариков, послуживших Отечеству верой и правдой, полных тревоги и заботы о хлебе, о завтрашнем дне родной земли. Слушать их — одно удовольствие. Я всегда радуюсь их стариковской наблюдательности и мудрости.

Накануне сенокоса во дворах белорусской деревни Моставуха, как в



абрамовском Пекашине, старики-умельцы отбивают косы, и кажется, этот весёлый, многоголосый перестук зовёт всех жителей от мала до велика на поля и луга, на общедеревенский праздничный сенокос. Я видел, как в свои семьдесят с лишком лет, задолго до солнышка разбудив заспавшихся внучат, брал на плечо косу крестьянин Иван Прохорович Янусов и шёл на далёкие Михновские пожни косить траву. По дороге он обязательно с хозяйской заботой осматривал совхозные хлеба: каким быть урожаю?

Иногда я составлял Прохоровичу и его внукам компанию, и мы уходили из деревни росистыми тропками, он — с косой, мы — с хлебом и молоком в бидоне. Шли ольшаником, перешагивали ручьи, переходили петляющую речку Щеперянку, и было нам хорошо от утренней прохлады, от птичьих песен, от полевых цветов и утреннего солнышка, от того, что скоро шагает и хорошо дышится, от ожидания большой Работы.

До полудня лихо и весело звенели по берегам речки косы, под их взмахами ложилась в ровные ряды трава. Солнышко поднималось над макушками леса, косить становилось всё труднее. Заметно уставший Иван Прохорович чаще обычного останавливался, отбивал косу, снимал кепку, утирал пот и, любуясь на скошенную траву, вдруг говорил:

— Всё, ребята! На сегодня хватит. Давайте-ка перекусим! Мы сегодня обед свой заработали честно!

Стоит ли говорить, каким вкусным был тот хлеб, каким приятным и сладким казалось остывшее в ключевой речке молоко!

Вспоминаю это и думаю о вас, ребята. Чем раньше вы узнаете цену Труду и Хлебу, тем меньше будет в вашей жизни ошибок и неудач, равнодушия и зла. Только нужно с ранних лет воспитывать в себе уважение к Работе, любовь к Делу. И хорошая книга здесь — Друг и советчик.

Внимательно, не спеша прочитайте эту книгу!

Мне хочется верить, что вы полюбите и запомните многих героев этой книжки: и Митю из рассказа А. Платонова «Сухой хлеб», и дочь бакеншика Галку из «Песнопевницы» В. Астафьева, и Мотю — сына погибшего перевозчика из рассказа Л. Пантелеева «На ялик». Каждый из этих славных ребят делом заслужил право на долгую и верную дружбу с вами. А настоящая дружба ценится в жизни превыше всего. Друзьям — самое трудное дело по плечу!

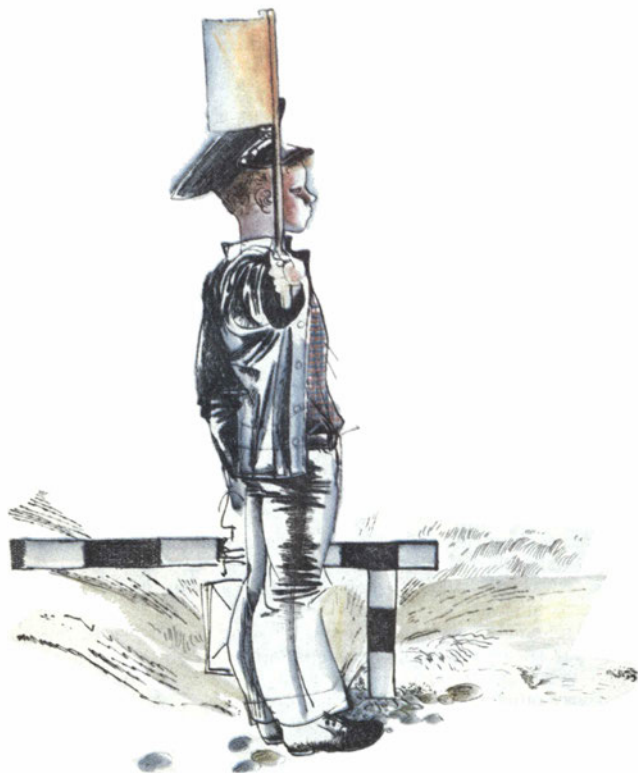
Никогда не забывайте об этом, ребята! Побольше читайте! Набирайтесь опыта и мудрости! Стремитесь быть настоящими и верными приемниками трудовой славы старших поколений! Несите достойно и честно трудовую эстафету своих отцов, как несли её маленькне герои этой книги! Смелее, ребята! Впереди у вас — целая жизнь!

*Герой Социалистического Труда Е. Моряков*

Андрей Платонов

# КОРОВА

[Отрывок из рассказа]





**Н**ачинались вечерние сумерки; небо, покрытое серой прохладной наволочью, уже смежалось тьмою; ветер, что весь день шевелил остья скошенных хлебов и голые кусты, омертвевшие на зиму, теперь улёгся в тихих, низких местах земли и лишь еле-еле поскрипывал флюгаркой на печной трубе, начиная песнь осени.

Одноколейная линия железной дороги пролежала невдалеке от дома, возле палисадника, в котором в эту пору уже всё посохло и поникло — и трава, и цветы. Вася остерегался заходить в огорожу палисадника: он ему казался теперь кладбищем растений, которые он посадил и вывел на жизнь весной.

Мать зажгла лампу в доме и выставила сигнальный фонарь наружу, на скамейку.

— Скоро четыреста шестой пойдёт, — сказала она сыну, — ты его проводи. Отца что-то не видать <...>

Отец ушёл с телёнком на станцию, за семь километров, ещё с утра; он, наверно, сдал ветеринару телёнка, а сам на станционном собрании сидит <...> либо на консультацию по техминимуму пошёл. А может быть, очередь на ветпункте большая и отец ожидает. Вася взял фонарь и сел на деревянную перекладину у переезда. Поезда ещё не было слышно, и мальчик



огорчился; ему некогда было сидеть тут и провожать поезда: ему пора было готовить уроки к завтрашнему дню и ложиться спать, а то утром надо рано подниматься. Он ходил в колхозную семилетку за пять километров от дома и учился там в четвёртом классе.

Вася любил ходить в школу, потому что, слушая учительницу и читая книги, он воображал в своём уме весь мир, которого ещё не знал, который был, как он думал, вдали от него. Нил, Египет, Испания и Дальний Восток, великие реки — Миссисипи, Енисей, Тихий Дон и Амазонка, Аральское море, Москва, гора Арарат, остров Уединения в Ледовитом океане — всё это волновало Васю и влекло к себе. Ему казалось, что все страны и люди давно ожидают, когда он вырастет и придёт к ним. Но он ещё нигде не успел побывать; родился он здесь же, где жил и сейчас, а был только в колхозе, в котором находилась школа, и на станции. Поэтому с тревогой и радостью он всматривался в лица людей, глядящих из окон пассажирских поездов, — кто они такие и что они думают, — но поезда шли быстро и люди проезжали в них не узнаваемыми мальчиком на переезде. Кроме того, поездов было мало, всего две пары в сутки, а из них три поезда проходили ночью.

Однажды, благодаря тихому ходу поезда, Вася явственно разглядел лицо молодого задумчивого человека. Он смотрел через открытое окно в степь, в незнакомое для него место на горизонте и курил трубку. Увидев мальчика, стоявшего на переезде с поднятым зелёным флажком, он улыбнулся ему и ясно сказал: «До свидания, человек!» — и ещё помахал на память рукою. «До свидания, — ответил ему Вася про себя. — Вы расту, увидимся! Ты поживи и обожди меня, не умирай!» И затем долгое время мальчик вспоминал этого задумчивого человека, уехавшего в вагоне неизвестно куда; он, наверно, был парашютист, артист или орденосец, или ещё лучше кто-нибудь, так думал про него Вася. Но вскоре память о человеке, миновавшем однажды их дом, забылась в сердце мальчика, потому что ему надо было жить дальше и думать и чувствовать другое.

Далеко — в пустой ночи осенних полей — пропел паровоз. Вася вышел поближе к линии и высоко над головой поднял светлый сигнал свободного прохода. Он слушал ещё некоторое время растущий гул бегущего поезда и затем обернулся к своему дому. На их дворе жалобно замычала корова. Она всё

время ждала своего сына-телёнка, а он не приходил. «Где же это отец так долго шатается! — с недовольством подумал Вася. — Наша корова ведь уже плачет! Ночь, темно, а отца всё нет».

Паровоз достиг переезда и, тяжело проворачивая колёса, дыша всею силой своего огня во тьму, миновал одинокого человека с фонарём в руке. Механик и не посмотрел на мальчика, — далеко высунувшись из окна, он следил за машиной: пар пробил набивку в сальнике поршневого штока и при каждом ходе поршня вырывался наружу. Вася это тоже заметил. Скоро будет затяжной подъём, и машине с неплотностью в цилиндре тяжело будет вытягивать состав. Мальчик знал, отчего работает паровая машина, он прочитал про неё в учебнике по физике, а если бы там не было про неё написано, он всё равно бы узнал о ней, что она такое. Его мучило, если он видел какой-либо предмет или вещество и не понимал, отчего они живут внутри себя и действуют. Поэтому он не обиделся на машиниста, когда тот проехал мимо и не поглядел на его фонарь: у машиниста была забота о машине, паровоз может стать ночью на долгом подъёме и тогда ему трудно будет стронуть поезд вперёд; при остановке вагоны отойдут немного назад, состав станет врасстяжку, и его можно разорвать, если сильно взять с места, а слабо его вовсе не сдвинешь.

Мимо Васи пошли тяжёлые четырёхосные вагоны; их ресорные пружины были сжаты, и мальчик понимал, что в вагонах лежит тяжёлый дорогой груз. Затем поехали открытые платформы; на них стояли автомобили, неизвестные машины, покрытые брезентом, был насыпан уголь, горой лежали кочаны капусты, после капусты были новые рельсы, и опять начались закрытые вагоны, в которых везли живность. Вася светил фонарём на колёса и буксы вагонов — не было ли там чего неладного, но там было всё благополучно. Из одного вагона с живностью закричала чужая безвестная телушка, и тогда из сарая ей ответила протяжным, плачущим голосом корова, тоскующая о своём сыне.

Последние вагоны прошли мимо Васи совсем тихо. Слышно было, как паровоз в голове поезда бился в тяжёлой работе, но колёса его буксовали впустую и состав не натягивался. Вася направился с фонарём к паровозу, потому что машине было трудно и он хотел побыть около неё, словом этим он мог разделить её участь.



Паровоз работал с таким напряжением, что из трубы его вылетали кусочки угля и слышалась гулкая дышащая внутренность котла. Колёса машины медленно проворачивались, и механик следил за ними из окна будки. Впереди паровоза шёл по пути помощник машиниста. Он брал лопатой песок из балластного слоя и сыпал его на рельсы, чтобы машина не буксовала. Свет передних паровозных фонарей освещал чёрного, измазанного в мазут, утомлённого человека. Вася поставил свой фонарь на землю и вышел к работающему с лопатой помощнику машиниста.

— Дай я буду, — сказал Вася. — А ты ступай помогай паровозу. А то вот-вот и он остановится.

— А сумеешь? — спросил помощник, глядя на мальчика большими светлыми глазами из своего глубокого тёмного лица. — Ну, попробуй! Только осторожней, оглядывайся на машину!

Лопата была велика и тяжела для Васи. Он отдал её обратно помощнику.

— Я буду руками, так легче.

Вася нагнулся, нагрёб песку в горсти и быстро насыпал его полосой на головку рельса.

— Посыпай на оба рельса, — указал ему помощник и побежал на паровоз.

Вася стал сыпать по очереди то на один рельс, то на другой. Паровоз тяжело, медленно шёл вслед за мальчиком, в упор растирая песок стальными колёсами. Угольная гарь и влага из охлаждённого пара падали сверху на Васю, но ему было интересно работать, он чувствовал себя важнее паровоза, потому что сам паровоз шёл за ним и лишь благодаря ему не буксовал и не останавливался.

Если Вася забывался в усердии работы и паровоз к нему приближался почти вплотную, то машинист давал короткий гудок и кричал с машины: «Эй, оглядывайся!.. Сыпь погуще, поровней!»

Вася берётся машины и молча работал. Но потом он рассерчал, что на него кричат и приказывают; он сбежал с пути и сам закричал машинисту:

— А вы чего без песка поехали? Иль не знаете!..

— Он у нас весь вышел, — ответил машинист. — У нас посуда для него мала.

— Добавочную поставьте, — указал Вася, шагая рядом

с паровозом. — Из старого железа можно согнуть и сделать. Вы кровельщику закажите.

Машинист поглядел на этого мальчика, но во тьме не увидел его хорошо. Вася был одет исправно и обут в башмаки, лицо имел небольшое и глаз не сводил с машины. У машиниста у самого дома такой же мальчишка рос.

— И пар у вас идёт, где не нужно: из цилиндра, из котла дует сбоку, — говорил Вася. — Только зря сила в дырки пропадает.

— Ишь ты! — сказал машинист. — А ты садись води состав, а я рядом пойду.

— Давай! — обрадованно согласился Вася.

Паровоз враз, во всю полную скорость завертел колёсами на месте, точно узник, бросившийся бежать на свободу, даже рельсы под ним далеко загремели по линии.

Вася выскочил опять вперёд паровоза и начал бросать песок на рельсы, под передние бегунки машины. «Не было бы своего сына, я бы усыновил этого, — бормотал машинист, укрощая буксованье паровоза. — Он с малолетства уже полный человек, а у него ещё всё впереди... Что за чёрт: не держат ли ещё тормоза где-нибудь в хвосте, а бригада дремлет, как на курорте. Ну я её на уклоне растрясусь». Машинист дал два длинных гудка, чтоб отдали тормоза в составе, если где зажато.

Вася оглянулся и сошёл с пути.

— Ты что же? — крикнул ему машинист.

— Ничего, — ответил Вася. — Сейчас не круто будет, паровоз без меня поедет сам, а потом под гору...

— Всё может быть, — произнёс сверху машинист. — На, возьми-ка! — И он бросил мальчику два больших яблока.

Вася поднял с земли угощение.

— Обожди, не ешь! — сказал машинист. — Пойдёшь назад, глянь под вагоны и послушай, пожалуйста: не зажаты ли где тормоза. А тогда выйди на бугорок, сделай мне сигнал своим фонарём — знаешь как?

— Я все сигналы знаю, — ответил Вася и уцепился за трап паровоза, чтобы прокатиться. Потом он наклонился и поглядел куда-то под паровоз.

— Зажато! — крикнул он.

— Где? — спросил машинист.

— У тебя зажато — тележка под тендером! Там колёса крутятся тихо, а на другой тележке шибче!



Машинист выругал себя, помощника и всю жизнь целиком, а Вася соскочил с трапа и пошёл домой.

Вдалеке светился на земле его фонарь. На всякий случай Вася послушал, как работают ходовые части вагонов, но нигде не услышал, чтобы тёрлись и скрежетали тормозные колодки.

Состав прошёл, и мальчик обернулся к месту, где был его фонарь. Свет фонаря вдруг поднялся в воздух, фонарь взял в руки какой-то человек. Вася добежал туда и увидел своего отца.



Андрей Платонов  
**СУХОЙ ХЛЕБ**





**Ж**ил в деревне Рогачёвке мальчик Митя Климов семи лет от роду. Отца у него не было, отец его умер на войне от болезни, теперь у него осталась одна мать. Был у Мити Климова ещё дедушка, да он умер от старости ещё до войны, и лица его Митя не помнил; помнил он только доброе тепло у груди деда, что согревало и радовало Митю, помнил грустный глухой голос, звавший его. А теперь не стало того тепла и голос тот умолк. «Куда ушёл дедушка?» — думал Митя. Смерти он не понимал, потому что он нигде не видел её. Он думал, что и брёвна в их избе и камень у порога тоже живые, как люди, как лошади и коровы, только они спят.

— А где дедушка? — спрашивал Митя у матери. — Он спит в земле?

— Он спит, — говорила мать.

— Он умерился? — спрашивал Митя.

— Умерился, — отвечала мать. — Он всю жизнь землю пахал, а зимой плотничал, зимой он сани делал в кооперацию и лапти плёл; всю жизнь ему спать было некогда.

— Мама, разбуди его! — просил Митя.

— Нельзя. Он осерчает.

— А папа тоже спит?

— И папа спит.

— У них ночь?

— У них ночь, сынок.

— Мама, а ты никогда не утомишься? — спрашивал Митя и с боязнью смотрел в материнское лицо.

— Нету, чего мне, сынок, я никогда не уморуся. Я здоровая, я не старая... Я тебя ещё долго буду растить, а то ты у меня маленький.

И Митя боялся, что мама его уморится, устанет работать и тоже уснёт, как уснули дед и отец.

Мать теперь целый день ходила по полю за плугом. Два вола волокли плуг, а мать держала ручки плуга и кричала на волов, чтоб они шли, а не останавливались и не дремали. Мать была большая, сильная, под её руками лемех плуга выворачивал землю. Митя ходил следом за плугом и тоже покрикивал на волов, чтобы не скучать без матери.

В тот год лето было сухое. Горячий ветер дул в полях с утра до вечера, и в этом ветре летели языки чёрного пламени, будто ветер сдувал огонь с солнца и нёс его по земле. В полдень всё небо застилала мгла; огненный зной палил землю и обращал её в мёртвый прах, а ветер подымал в вышину тот прах, и он застил солнце. На солнце можно было тогда смотреть глазами, как на луну, плывущую в тумане.

Мать Мити пахала паровое поле. Митя ходил за матерью и время от времени носил воду из колодца на пашню, чтобы мать не мучилась от жажды. Он приносил каждый раз половину ведра; мать сливала воду в бадью, она поила волов, чтобы они не затамились и пахали. Митя видел, как тяжело было матери, как она упиралась в плуг впереди себя, когда слабели волю. И Митя захотел скорее стать большим и сильным, чтобы пахать землю вместо матери, а мать пусть отдыхает в избе.

Подумав так, Митя пошёл домой. Мать ночью испекла хлеба и оставила их на лавке, покрыв от мух чистым рушником. Митя отрезал половину ковриги и начал есть. Есть ему не хотелось, да нужно было; он хотел скорее вырасти большим, скорее войти в силу и пахать землю. Митя думал, что от хлеба он скорее вырастет, только надо съесть его много. И он ел хлебную мякоть и хлебную корку; сперва он ел в охоту, а потом стал давиться от сытости; хлеб из его рта хотел выйти обратно, а он запихивал его пальцами и терпеливо жевал. Вскоре у него рот уморился жевать, челюсти в щеках заболели от работы, и Митя захотел спать. Но спать ему не надо было. Ему надо

есть много и расти большим. Он выпил кружку воды, съел ещё капустную кочерыжку и опять стал есть хлеб. Доевши половину ковриги, Митя снова попил воды и стал есть печёную картошку из горшка, макая её в соль. Картошку он съел только одну, а вторую взял в руку, макнул в соль и заснул.

Вечером мать пришла с пахоты. Видит она, спит её сын на лавке, голову положил на ковригу свежего хлеба и храпит, как большой мужик. Мать раздела Митю, осмотрела его — не искусал ли его кто, глядит — живот у него, как барабан.

Всю ночь Митя храпел, брыкался ногами и бормотал во сне. А наутро проснулся, жил весь день не евши, ничего ему не хотелось, одну только воду пил.

С утра Митя ходил по деревне, потом пошёл на пашню к матери и всё время поглядывал на встречных и прохожих людей: не замечают ли они, что он вырос. Никто не смотрел на Митю с удивлением и не говорил ему ничего. Тогда он посмотрел на свою тень — не длиннее ли она стала. Тень его словно бы стала больше, чем вчера, однако немного, на самую малость.

— Мама, — сказал Митя, — давай я пахать буду, мне пора!

Мать ответила ему:

— Обожди! Придёт и твоя пора пахать! А сейчас твоя пора не пришла, ты малолетний, ты маломощный ещё, тебе расти и кормиться ещё надо, и я тебя буду кормить!

Митя осерчал на мать и на всех людей, что он меньше их.

— Не хочу я кормиться, я тебя кормить хочу!

Мать улыбнулась ему, и от неё, от матери, всё стало вдруг добрым вокруг: сопящие потные волы, серая земля, былинка, дрожащая на жарком ветру, и незнакомый старик, бредущий по меже. Огляделся Митя, и ему показалось, что отовсюду на него смотрят добрые, любящие его глаза, и вздрогнуло его сердце от радости.

— Мама! — воскликнул Митя. — А что мне надо делать? А то я тебя люблю.

— А чего тебе делать! — сказала мать. — Живи, вот тебе работа. Думай о дедушке, думай об отце и обо мне думай. — А обо мне ты тоже думаешь?

— О тебе я тоже думаю — один ты у меня, — ответила мать. — Ой, лешие! Чего стали? — сказала она волам. — А ну вперёд! Не евши, что ль, жить будем?



В родительском дворе, где жил Митя Климов, был старый сарай. Сарай был покрыт досками, и доски стали старые от времени, по ним уже давно рос зелёный мох. А сам сарай ушёл с одной стороны наполовину в землю и походил на согнувшегося старика. В тёмном углу того сарая лежали старые давние вещи. Туда и отец складывал, что ему нужно было, там и дед хранил, что ему одному было дорого и никому уже не требовалось. Митя любил ходить в тот тёмный угол сарая-старика и трогать там ненужные вещи. Он брал топор, весь иззубренный, ржавый и негодный, глядел на него и думал: его дедушка в руках держал и я держу. Он увидел там деревянную снасть, похожую на корягу, и не знал, что это такое. Мать тогда сказала Мите: это была соха, ею дедушка пахал землю. Митя нашёл там ещё колесо от домашней прялки и картинку, на которой был нарисован страшный старик, глядящий из облака на землю. Там же валялся кочедык: он был нужен дедушке, когда он плёл лапти себе и своим детям. Там ещё много было добра, и Митя трогал руками забытые предметы, спящие теперь в сумраке сарая; мальчик думал о них, он думал о том, как они жили давно в старинное время; тогда ещё Мити не было на свете, и всем скучно было, что его нету.

Нынче Митя нашёл в сарае твёрдую дубовую палку: на одном конце её был корень, согнутый книзу и острый, а другой конец был гладкий. Митя не знал, что это было. Может, дедушка рыхлил землю, как тяпкой, этим острым дубовым корнем или ещё что-нибудь работал. Мать говорила, он всегда работал и ничего не боялся. Митя взял эту дедушкину дубовую тяпку и отнёс её в избу. Может быть, она ему сгодится: дедушка ею работал — и он будет.

К самому пряслу Климова двора подходило колхозное поле. На поле была посеяна рожь рядами. Каждый день Митя ходил к матери через это хлебное поле и видел, как рожь морилась жарою и умирала; малые былинки ржи лишь изредка стояли живыми, а многие уже поникли замертво к земле, откуда вышли на свет. Митя пробовал подымать иссохшие хлеб-



ные былинки, чтоб они жили опять, но они жить не могли и клонились как сонные на спёкшуюся горячую землю.

— Мама, — говорил он, — рожь от жары умаривается!

— Умаривается, сынок. Дождей-то ведь не было и теперь нету, а хлеб не железный, он живой.

— А роса есть! — сказал Митя. — Она по утрам бывает.

— А чего роса! — ответила мать. — Роса сохнет скоро; земля вся поверху спеклась, роса вглубь не проходит.

— Мама, а как же быть-то без хлеба?

— Незнамо, как и быть... Должно, помощь тогда будет, мы в государстве живём.

— А лучше пусть в колхозе хлеб растёт, пусть роса в землю проходит.

— Так бы оно лучше было, — да хлеб без дождя не рождается.

— Он не вырастет большой, он спит маленький! — произнёс Митя; он скучал о тех, кто спит.

Он пошёл один домой, а мать осталась на пашне. Дома Митя взял дедушкину деревянную тяпку, погладил её рукою, — дедушка тоже, должно быть, гладил её, — положил тяпку на плечо и пошёл на колхозное озимое поле, что было за пряслом.

Там он стал рыхлить тяпкой спёкшуюся землю, промеж рядов уснувших ржаных былин. Митя понимал, что хлебу вольнее будет дышать, когда земля станет рыхлой. А ещё ему хотелось, чтобы ночная и утренняя роса прошла сверху между комочками земли в самую глубину, до каждого корня ржаного колоска. Тогда роса смочит там почву, корни станут кормиться из земли, а хлебная былинка проснётся и будет жить.

Митя ударил нечаянно тяпкой возле самого хлебного стебелька, и стебелёк тот сломался и поник.

— Нельзя! — вскричал Митя самому себе. — Ты что делаешь!

Он оправил стебелёк, устави́л его в земле и стал теперь мотыжить землю лишь посредине междурядья, чтобы не поранить хлебных корней. Потом он положил тяпку и начал руками копать и рыхлить землю у самых корней хлеба. Корни были осохшие, слабые, мать говорила про них, что они малодушные, и Митя осторожно ощупывал пальцами и разрыхлял почву вокруг каждого ржаного корешка, чтобы не сделать ему больно и чтобы роса напоила его.

Митя работал долго и ничего не видел, кроме земли у ослабевших, у дремлющих былинки.

Он опомнился, когда его окликнули. Митя увидел учительницу. Он не ходил в школу, мать сказала ему, что осенью отдаст его в школу, но Митя знал учительницу. Она была на войне, и у неё осталась целой одна правая рука; однако учительница Елена Петровна не горевала, что она калека; она всегда была весёлая, она знала всех детей на деревне и ко всем была добрая.

— Митя! Ты что тут копаешь? — спросила учительница.

— Хлеб пусть растёт! — сказал Митя. — Я хлебу помогаю, чтоб он жил.

— Как же ты помогаешь? А ну расскажи мне, Митя! Расскажи скорей, ведь сушь стоит!

— Он росу будет пить!

Учительница подошла к Мите и посмотрела на его работу.

— Тебе бы играть надо, тебе не скучно работать одному?

— Не скучно, — сказал Митя.

— А отчего тебе не скучно?.. Приходи завтра ко мне в школу, мы оттуда в лес на экскурсию с ребятами пойдём, и ты пойдёшь...

Митя не знал, что сказать, потом он вспомнил.

— Я маму всё время люблю, мне работать не скучно. Хлеб помирает, нам некогда.

Учительница Елена Петровна наклонилась к Мите, обняла его одной рукой и прижала к себе.

— Ах ты, милый мой! Какое сердце у тебя — маленькое, а большое!.. Знаешь что? Ты тяпкой будешь мотыжить, а я пальцами у корней буду копать, а то у меня рука-то всего одна!

И Митя стал мотыжить землю дедушкиной тяпкой, а учительница, присев на корточки, начала копать почву пальцами у самых хлебных корней.

На другой день учительница пришла на колхозное поле не одна; с нею пришло семеро детей, учеников первого и второго классов. Митя один уже работал деревянной тяпкой. Он вышел нынче спозаранку и осмотрел все хлебные былинки, возле которых он вчера разрыхлил землю.

Солнце поднялось, роса уже сошла, и ветер с огнём дул по земле. Однако те ржаные колоски, что возделал Митя, нынче словно бы повеселели.

— Они просыпаются! — обрадованно сказал Митя учительнице. — Они проснутся!

— Конечно проснутся, — согласилась учительница. — Мы их разбудим!

Она увела учеников с собой, и Митя остался один.

«Мама пашет, и я хлебу расти помогаю», — думал Митя. <...>

Учительница Елена Петровна взяла в колхозе маленькие узкие тяпки и вернулась со всеми мальчиками и девочками обратно. Она показала детям, как работает Митя, как надо делать, чтобы рос сухой хлеб, — она сама стала работать одной рукой, и все дети склонились к ржаным былинкам, чтобы помочь им жить и расти.



*Екатерина Серова*

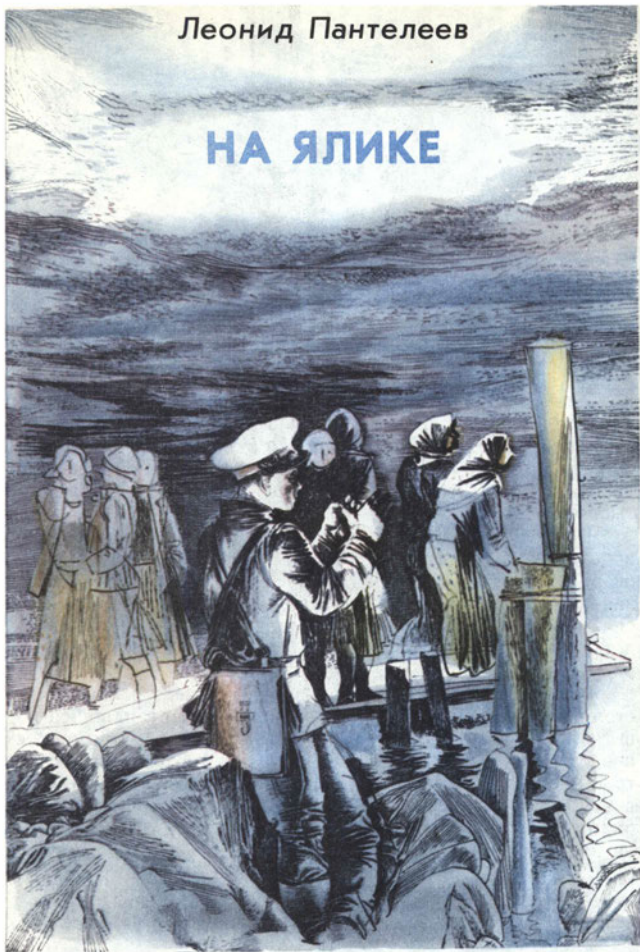
## **ОТЧЕГО ТЫ, РОЖЬ, ЗОЛОТАЯ?**

Ветерок спросил, пролетая:  
— Отчего ты, рожь, золотая? —  
А в ответ колоски шелестят:  
— Золотые руки растят!



Леонид Пантелеев

# НА ЯЛИКЕ





**Б**ольшая широкобокая лодка подходила к нашему берегу. Набитая до отказа, сидела она очень низко в воде, шла медленно, одолевая течение, и было видно, как туго и трудно погружаются в воду вёсла и с каким облегчением выскальзывают они из неё, сверкая на солнце и рассыпая вокруг себя тысячи и тысячи брызг.

Я сидел на большом тёплом и шершавом камне у самой воды, и мне было так хорошо, что не хотелось ни двигаться, ни оглядываться, и я даже рад был, что лодка ещё далеко и что, значит, можно ещё несколько минут посидеть и подумать... О чём? Да ни о чём особенном, а только о том, как хорошо сидеть, какое милое небо над головой, как чудесно пахнет водой, ракушками, смолёным деревом...

Я уже давно не был за городом, и всё меня сейчас по-настоящему радовало: и чахлый одуванчик, притаившийся под пыльным зонтиком лопуха, и лёгкий, чуть слышный плеск невиской волны, и белая бабочка, то и дело мелькавшая то тут, то там в ясном и прозрачном воздухе. И разве можно было в эту минуту поверить, что идёт война, что фронт совсем рядом, что он тут вот, за этими крышами и трубами, откуда изо дня в день летят в наш осаждённый город немецкие бомбардировщики и дальнобойные бризантные снаряды<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Б р и з а н т н ы е с н а р я д ы — разрывные, осколочные снаряды.

Нет, я не хотел думать об этом, да и не мог думать, — так хорошо мне было в этот солнечный июльский день.

\* \* \*

А на маленькой пристаньке, куда должна была причалить лодка, уже набился народ.

Ялик подходил к берегу, и чтобы не потерять очереди, я тоже прошёл на эти животрепещущие дощатые мостки и смешался с толпой ожидающих. Это были всё женщины, всё больше пожилые работницы.

Некоторые из них уже перекликались и переговаривались с теми, кто сидел в лодке. Там тоже были почти одни женщины, а из нашего брата только несколько командиров, один военный моряк да сам перевозчик, человек в неуклюжем брезентовом плаще с капюшоном. Я видел пока только его спину и руки в широких рукавах, которые ловко, хотя и не без натуги, работали вёслами. Лодку относило течением, но всё-таки с каждым взмахом вёсел она всё ближе и ближе подходила к берегу.

— Матвей Капитоныч, поторопись! — кричал кто-то из ожидающих.

Гребец ничего не ответил. Подводя лодку к мосткам, он чуть-чуть повернул голову, и тут я увидел его лицо. Это был мальчик лет одиннадцати-двенадцати, а может быть, и моложе. Лицо у него было худенькое, серьёзное, строгое, тёмное от загара, только бровки были смешные, детские, совершенно выцветшие, белые, да из-под широкого козырька огромной боцманской фуражки с якорем на околыше падали на запотевший лоб такие же белобрысые, соломенные, давно не стриженные волосы.

По тому, как тепло и дружно приветствовали его у нас на пристани женщины, было видно, что мальчик не случайно и не в первый раз сидит на вёслах.

— Капитану привет! — зашумели женщины.

— Мотенька, давай, давай сюда! Заждались мы тебя.

— Мотенька, поспеши, опаздываем!

— Матвей Капитоныч, здравствуй!..

— Отойди, не мешай, бабы! — вместо ответа кричал он каким-то хриплым, простуженным баском, и в эту минуту лодка ударилась о стенку причала, качнулась и за-



скрипела. Мальчик зацепил веслом за кромку мостков, кто-то из военных спрыгнул на пристань и помог ему причалить лодку.

Началась выгрузка пассажиров и посадка новых.

Маленький перевозчик выглядел очень усталым, с лица его катил пот, но он очень спокойно, без всякого раздражения, сурово и повелительно распоряжался посадкой.

— Эй, тётка! — покрикивал он. — Вот ты, с противогоздом которая. Садись с левого борта. А ты, с котелком, — туда... Тихо. Осторожно. Без паники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь...

Он сосчитал, сбился и ещё раз пересчитал, сколько людей в лодке.

— Довольно. Хватит. За остальными после приеду.

Оттолкнувшись веслом от пристани, он подобрал свой брезентовый балахон, уселся и стал собирать двугривенные за перевоз.

Я, помню, дал ему рубль и сказал, что сдачи не надо. Он шмыгнул носом, усмехнулся, отсчитал восемь гривен, подал их мне вместе с квитанцией и сказал:

— Если у вас лишние, так положите их лучше в сберкассу.

Потом пересчитал собранные деньги, вытащил из кармана большой старомодный кожаный кошель, ссыпал туда монеты, защёлкнул кошель, спрятал его в карман, уселся поудобнее, поплевал на руки и взялся за вёсла.

Большая тяжёлая лодка, сорвавшись с места, легко и свободно пошла вниз по течению.

\* \* \*

И вот, не успели мы как следует разместиться на своих скамейках, не успел наш ялик отойти и на сотню метров от берега, случилось то, чего, казалось бы, уж никак нельзя было ожидать в этот солнечный, безмятежно спокойный летний день.

Я сидел на корме. Передо мной лежала река, а за нею — Каменный остров, над которым всё выше и выше поднималось утреннее солнце. Густая зелёная грива висела над низким отлогим берегом. Сквозь яркую свежую листву виднелись отсюда какие-то домики, какая-то беседка с белыми круглыми



колоннами, а за ними... Но нет, там ничего не было и не могло быть. Мирная жизнь спокойно, как река, текла на этой цветущей земле. Лёгкий дымок клубился над пёстрыми дачными домиками. Чешуйчатые рыбацьи сети сушились, растянутые на берегу. Белая чайка летала. И было очень тихо. И в лодке у нас тоже почему-то стало тише, только вёсла мерно стучали в уклучинах да за бортом так же мерно и неторопливо плескалась вода.

И вдруг в эту счастливую, безмятежную тишину ворвался издалека звук, похожий на отдалённый гром. Лёгким гулом он прошёл по реке. И тотчас же в каждом из нас что-то ёкнуло и привычно насторожилось. А какая-то женщина, правда не очень испуганно и не очень громко, вскрикнула и сказала:

— Ой, что это, бабоньки?

В эту минуту второй, более сильный удар размашистым отзвуком прокатился по реке. Все посмотрели на мальчика, который, кажется, один во всей лодке, не обратил никакого внимания на этот подозрительный грохот и продолжал спокойно грести.

— Мотенька, что это? — спросили у него.

— Ну что! — сказал он, не поворачивая головы. — Ничего особенного. Зенитки.

Голос у него был какой-то скучный и даже грустный, и я невольно посмотрел на него. Сейчас он показался мне почему-то ещё моложе, в нём было что-то совсем детское, младенческое: уши под большим картузом смешно оттопыривались в стороны, на загорелых щеках проступал лёгкий белый пушок, из-под широкого и жёсткого, как хомут, капюшона торчала тонкая, цыплячья шейка.

А в чистом, безоблачном небе уже бушевала гроза. Теперь уже и мне было ясно, что где-то на подступах, на фортах, а может быть, и ближе работают наши зенитные установки. Как видно, вражеским самолётам удалось пробиться сквозь первую линию огня и теперь они уже летели к городу. Канонада усиливалась, приближалась. Всё новые и новые батареи вступали в дело, и скоро отдельные залпы стали неразличимы, — обгоняя друг друга, они сливались в один сплошной гул.

— Летит! Летит! Поглядите-ка! — закричали вдруг у нас в лодке.

Я посмотрел и ничего не увидел. Только мягкие, пушистые дымчатые клубочки таяли то тут, то там в ясном и высоком небе.

Но сквозь гром зенитного огня я расслышал знакомый прерывистый рокот немецкого мотора.

Гребец наш тоже мельком, искоса посмотрел на небо. — Ага. Разведчик, — сказал он пренебрежительно.

И я даже улыбнулся, как это он быстро, с одного маха нашёл самолёт и с какой точностью определил, что самолёт этот не какой-нибудь, а именно разведчик. Я хотел было попросить его показать мне, где он увидел этого разведчика, но тут будто огромной кувалдой ударило меня по барабанным перепонкам, я невольно зажмурился, услышал, как закричали женщины, и изо всех сил вцепился в холодный влажный борт лодки, чтобы не полететь в воду.

\* \* \*

Это открыли огонь зенитные батареи на Каменном острове. Уж думалось, что дальше некуда: и так уж земля и небо дрожали от этого грома и грохота, а тут вдруг оказалось, что всё это были пустяки, что до сих пор было даже очень тихо и что только теперь-то и началась настоящая музыка воздушного боя.

Ничего не скажу — было страшно. Особенно когда в воду — и спереди, и сзади, и справа и слева от лодки — начали падать осколки.

Мне приходилось уже не раз бывать под обстрелом, но всегда это случалось со мной на земле, на суше. Там, если рядом и упадёт осколок, его не видно. А тут, падая с шипением в воду, эти осколки поднимали за собой целые столбы воды. Это было красиво, похоже на то, как играют дельфины в тёплых морях, — но если бы это действительно были дельфины...

Женщины в нашей лодке уже не кричали. Перепуганные, они сбились в кучу, съёжились, пригнули как можно ниже головы. А многие из них даже легли на дно лодки и защищали себя руками, как будто можно рукой уберечь себя от тяжёлого и раскалённого куска металла. Но ведь известно, что в такие минуты человек не умеет рассуждать. Признаться, мне тоже хотелось нагнуться, зажмуриться, спрятать голову.

Но я не мог сделать этого.

Передо мной сидел мальчик. Ни на один миг он не оставил вёсел. Так же уверенно и легко вёл он своё маленькое судно, и на лице его я не мог прочесть ни страха, ни волнения. Он только посматривал изредка то направо, то налево, то на небо, потом переводил взгляд на своих пассажиров — и усмеялся. Да, усмеялся. Мне даже стыдно стало, я даже покраснел, когда увидел эту улыбку на его губах.

«Неужели он не боится? — подумал я. — Неужели ему не страшно? Неужто не хочется ему бросить вёсла, зажмуриться, спрятаться под скамейку?.. А впрочем, ведь он ещё маленький, — подумалось мне. — Он ещё не понимает, что такое смерть, поэтому небось и улыбается так беспечно и снисходительно».

Канонада ещё не кончилась, когда мы пристали к берегу. Не нужно было никого подгонять. Через полминуты лодка была уже пустая.

Под дождём осколков, совсем как это бывает под настоящим проливным дождём, женщины бежали на берег и прятались под густыми шапками приземистых дубков и столетних лип.

Я вышел из лодки последним. Мальчик возился у причала, затягивая какой-то сложный морской узел.

— Послушай! — сказал я ему. — Чего ты копаешься тут? Ведь, посмотри, осколки летят...

— Чего? — переспросил он, подняв на секунду голову и посмотрев на меня не очень любезно.

— Я говорю: храбрый ты, как я погляжу...

В это время тяжёлый осколок с тупым звоном ударился о самую кромку мостков.

— А ну, проходите! — закричал на меня мальчик. — Нечего тут...

— Ишь ты какой! — сказал я с усмешкой и зашагал к берегу.

Я был обижен и решил, что не стоит и думать об этом глупом мальчишке.

Но, выйдя на дорогу, я всё-таки не выдержал и оглянулся. Мальчика на пристани уже не было. Я поискал его глазами. Он стоял на берегу, под навесом какого-то склада или сарая. Вёсла свои он тоже притащил сюда и поставил рядом.



«Ага! — подумал я с некоторым злорадством. — Всё-таки, значит, немножко побаиваешься, голубчик!..»

Но, по правде сказать, мне всё ещё было немножко стыдно, что маленький мальчик оказался храбрее меня. Может быть, поэтому я не стал прятаться под деревьями, а сразу свернул на боковую дорожку и отправился разыскивать Н-скую зенитную батарею.

\* \* \*

Дела, которые привели меня на Каменный остров, к зенитчикам, отняли у меня часа полтора-два. Обратного в город меня обещали «подкинуть» на штабной машине, прибытия которой ожидали с минуты на минуту.

В ожидании машины, от нечего делать, я беседовал с командиром батареи о всякой всячине и, между прочим, рассказал о том, как сложно я к ним добирался, и о том, как наш ялик попал в осколочный дождь.

Командир батареи, пожилой застенчивый лейтенант из запасных, почему-то вдруг очень смутился и даже покраснел.

— Да, да... — сказал он, вытирая платком лицо. — К сожалению, наши снаряды летают не только вверх, но и вниз. Но что ж поделаешь! Это как раз те щепки, которые летят, когда лес рубят. Но всё-таки неприятно. Очень неприятно. Ведь бывают жертвы, свои люди гибнут. Вот как раз недели три тому назад тут перевозчика осколком убило.

Я, помню, даже вздрогнул, когда услышал это.

— Как перевозчика? — сказал я. — Где? Какого?

— Да вот тут как раз, на Неве, где вы переезжали. Хороший человек был. Сорок два года работал на перевозе. И отец у него, говорят, тоже на яликах подвизался. И дед.

— А сейчас там какой-то мальчик, — сказал я.

— Ха! — улыбнулся лейтенант. — Ну как же! Мотя! Матвей Капитоныч! Адмиралом Нахимовым мы его зовём. Это сынишка того перевозчика, который погиб.

— Как! — сказал я. — Того самого, который от осколка?..

— Ну да. Именно. Того Капитон звали, а этого Матвей Капитонович. Также матрос бывалый. Лет ему — не сосчитать как мало, а работает — сами видели — со взрослыми потягаться

может. И притом, что бы ни было, всегда на посту: и днём и ночью, и в дождь и в бурю...

— И под осколками, — сказал я.

— Да, и под осколками. Этого уж тут не избежишь! Осколочные осадки выпадают у нас, пожалуй, почаще, чем обычные, метеорологические...

Лейтенант мне ещё что-то говорил, что-то рассказывал, но я плохо слушал его.

Почему-то мне вдруг страшно захотелось ещё раз увидеть Мотю.

— Послушайте, товарищ лейтенант, — сказал я поднимаясь. — Знаете, что-то ваша машина застряла. А у меня времени в обрез. Я, пожалуй, пойду.

— А как же вы? — удивился лейтенант.

— Ну что ж, — сказал я. — Придётся опять на ялик.

\* \* \*

Когда я пришёл к перевозу, ялик ещё только-только отваливал от противоположного берега. Опять он был переполнен пассажирами, и опять низкие бортики его еле-еле выглядывали из воды, но так же легко, спокойно и уверенно работали вёсла и вели его наискось по течению, поблёскивая на солнце и оставляя в воздухе светлую радужную пыль. А солнце стояло уже высоко, припекало, и было очень тихо, даже как-то особенно тихо, как всегда бывает летом после хорошего проливного дождя.

На пристани ещё никого не было, я сидел один на скамеечке, поглядывал на воду и на приближающуюся лодку, и на этот раз мне уже не хотелось, чтобы она шла подольше, — наоборот, я ждал её с нетерпением. А лодка как будто чуяла это моё желание, шла очень быстро, и скоро в толпе пассажиров я уже мог разглядеть белый парусиновый балахон и боцманскую фуражку гребца.

«И днём и ночью, и в дождь и в бурю», — вспомнил я слова лейтенанта.

И вдруг я очень живо и очень ясно представил себе, как здесь вот, на этом самом месте, в такой же, наверно, погожий, солнечный денёк, на этой же самой лодке, с этими же вёслами в руках погиб на своём рабочем посту отец этого мальчика.



Я отчётливо представил во всех подробностях, как это случилось. Как привезли старого перевозчика к берегу, как выбежали навстречу жена и дети — и вот этот мальчик тоже, — и какое это было горе, и как страшно стало, как потемнело у мальчика в глазах, когда какая-то чужая старуха всхлипнула, перекрестилась и сказала:

— Царство небесное. Помер...

И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и работает теми же вёслами, которые выпали тогда из рук его отца.

«Как же он может? — подумал я. — Как может этот мальчик держать в руках эти страшные вёсла? Как может он спокойно сидеть на скамейке, на которой ещё небось не высохла кровь его отца? Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был проникнуться смертельным ужасом и к этой закланной работе, и к этой лодке, и к вёслам, и к чёрной невской воде. Даже отдалённый орудийный выстрел должен был пугать его и холодить жестокой тоской его маленькое сердце. А ведь он улыбался. Вы подумайте только — он улыбался давеча, когда земля и небо дрожали от залпов зенитных орудий!..»

Но тут мои размышления были прерваны. Весёлый женский голос звонко и раскатисто, на всю реку, прокричал за моей спиной:

— Матвей Капитоныч, поторопи-ись!..

Пока я сидел и раздумывал, на пристани уже скопилась порядочная толпа ожидающих.

Опять тут было очень много женщин-работниц, было несколько военных, две или три девушки-дружинницы и молодой военный врач.

Лодка уже подходила к мосткам. Повторилось то же, что было давеча на том берегу. Ялик ударился о стенку причала, закачался и заскрипел. Женщины и на берегу, и в лодке загалдели, началась посадка, и мальчик, стоя в лодке и придерживаясь веслом за борт мостков, не повышая голоса, серьёзно и деловито командовал своими пассажирами. Мне показалось, что за эти два часа он ещё больше осунулся и похудел. Тёмное от загара и от усталости лицо его блестело, он тяжело дышал. Балахон свой он растянул, распахнул ворот рубашки, и оттуда выглядывала светлая полоска незагорелой кожи.



Когда я входил в лодку, он посмотрел на меня, улыбнулся, показав на секунду маленькие белые зубы, и сказал:

— Что? Уж обратно?

— Да, обратно, — ответил я и почему-то очень обрадовался — и тому, что он меня узнал, и тому, что заговорил со мной и даже улыбнулся мне.

Усаживаясь, я постарался занять место поближе к нему. Это удалось мне. Правда, пришлось кого-то не очень вежливо оттолкнуть, но когда мальчик сел на своё капитанское место, оказалось, что мы сидим лицом к лицу.

Выполнив обязанности кассира, собрав двугривенные, пересчитав их и спрятав, Мотя взялся за вёсла.

— Только не шуметь, бабы! — строго прикрикнул он на своих пассажиров.

Те слегка притихли, а мальчик уселся поудобнее, поплевал на руки, и вёсла размеренно зашуршали в уключинах, и вода так же размеренно заплескалась за бортом.

Мне очень хотелось заговорить с мальчиком. Но, сам не зная почему, я немножко робел и не находил, с чего начать разговор.

Улыбаясь, я смотрел на его серьёзное сосредоточенное лицо и на смешные детские бровки, на которых поблёскивали редкие светлые волоски.

Внезапно он взглянул на меня, поймал мою улыбку и сказал:

— Вы чего смеётесь?

— Я не смеюсь, — сказал я немножко даже испуганно. — С чего ты взял, что я смеюсь? Просто я люблюсь, как ты ловко работаешь.

— Как это ловко? Обыкновенно работаю.

— Ох! — сказал я, покачав головой. — А ты, адмирал Нахимов, я погляжу, дядя сердитый...

Он опять, но на этот раз, как мне показалось, с некоторым любопытством взглянул на меня и сказал:

— А вы откуда знаете, что я — адмирал Нахимов?

— Ну, мало ли! Слухом земля полнится.

— Что, на батареях были?

— Да, на батареях.

— А!.. Тогда понятно.

— Что тебе понятно?

Он помолчал, как бы раздумывая, стоит ли вообще рассуждать со мной, и наконец ответил:

— Командиры меня так дразнят: адмиралом. Я ведь их тут всех обслуживаю: и зенитчиков, и лётчиков, и моряков, и из госпиталей которые...

— Да, брат, работы у тебя, как видно, хватает, — сказал я. — Устаёшь здорово небось? А?

Он ничего не сказал, только пожал плечами. Что работы ему хватает и что устаёт он зверски, было и без того видно.

Лодка опять шла наперекор течению, и вёсла с трудом, как в густую чёрную глину, погружались в воду.

— Послушай, Матвей Капитоныч, — сказал я, помолчав и подумав, — скажи мне, пожалуйста, откровенно, по совести: неужели тебе давеча не страшно было?

— Это когда? Где? — удивился он.

— Ну, давеча, когда зенитки работали.

Он усмехнулся и с каким-то не то что удивлением, а, пожалуй, даже с сожалением посмотрел на меня.

— Вы бы ночью сегодня поглядели, что было. Вот это да! — сказал он.

— А разве ты ночью тоже работал?

— Я дежурил. У нас тут на Деревообделочном он зажигалок набросал целый воз. Так мы тушили.

— Кто «мы»?

— Ну кто? Ребята.

— Так ты что — и не спал сегодня?

— Нет, спал немного.

— А ведь у вас тут частенько это бывает.

— Что? Бомбёжки-то? Конечно часто. У нас тут вокруг батареи. Осколки как начнут сыпаться, только беги.

— Да, — сказал я. — А ты вот, я вижу, всё-таки не бежишь.

— А мне бежать некуда, — сказал он, усмехнувшись.

— Ну, а ведь честно-то, по совести — боязно всё-таки?

Он опять подумал и как-то очень хорошо, просто и спокойно сказал:

— Бойся не бойся, а уж если попадёт, так попадёт. Легче ведь не будет, если бояться.

— Это конечно, — улыбнулся я. — Легче не будет.

Мне всё хотелось задать ему один вопрос, но как-то язык не поворачивался. Наконец я решился.

— А что, Мотя, правда, что у тебя тут недавно отец погиб?

Мне показалось, что на одно мгновение вёсла дрогнули в его руках.

— Ага, — сказал он хрипло и отвернулся в сторону.

— Его что — осколком?

— Да.

— Так вот, видишь, какая это опасная штука, оскол-ки эти...

Целую минуту он молчал, налегая на вёсла. Потом, так-же не глядя на меня, а куда-то в сторону, хриплым, басови-тым и, как мне показалось, даже не своим голосом сказал:

— Воды бояться — в море не бывать.

— Это правильно. Это хорошо сказано. Ну, а всё-таки разве ты об этом не думал? Если и тебя этак же?

— Что меня?

— Осколком.

— Тыфу, тыфу! — сказал он, сердито посмотрев на меня, и как-то лихо и замысловато, как старый бывалый матрос, плюнул через левое плечо.

Потом, заметив, что я улыбаюсь, не выдержал, сам улыб-нулся и сказал:

— Ну что ж! Конечно могут. Всякое бывает. Могут и убить. Тогда что ж... Тогда, значит, придётся Маньке за вёсла садиться.

— Какой Маньке?

— Ну какой! Сестрёнке. Она, вы не думайте, она хоть и ма-ленькая, а силы-то у неё побольше, чем у другого парня. На спинке Неву переплывает туда и обратно.

Беседуя со мной, Мотя ни на одну минуту не оставлял управления лодкой.

Она уже миновала середину реки и теперь, относимая те-чением в сторону, шла наискось к правому, высокому берегу. А там уже поблёскивали кое-где стёкла в сереньких дощатых домиках, из-за дранковых, толевых и железных крыш выгля-дывали чахлые пыльные деревца, а над ними без конца и без края расстилалось бесцветное бледно-голубое, как бы раз-бавленное молоком, северное небо.



И опять на маленькой пристани уже толпился народ, уже слышен был шум голосов и уже кто-то кричал что-то и махал нам рукой.

— Мотя-а-а! — расслышал я и, взглядевшись, увидел, что кричит это маленькая девочка в белом платочке и в каком-то бесцветном длинном, как у цыганки, платье. — Мотя-а-а! — кричала она надрываясь и чуть ли не со слезами в голосе. — Живей! Чего ты копаешься там?..

Мотя и головы не повернул. Только подводя лодку к мосткам, он поглядел на девочку и спокойно сказал:

— Чего орёшь?

Девочка была действительно совсем маленькая, босая, с таким же, как у Моти, загорелым лицом и с такими же смешными выцветшими, белёсыми бровками.

— Обедать иди! — загорячилась она. — Мама ждёт, ждёт!.. Уж горох весь выкипел.

И в лодке и на пристани засмеялись. А Мотя неторопливо причалил ялик, дождался, пока сойдут на берег все пассажиры, и только тогда повернулся к девочке и ответил ей:

— Ладно. Иду. Принимай вахту.

— Это что? — спросил я у него. — Это Манька и есть?

— Ага. Манька и есть. Вот она у нас какая! — улыбнулся он, и в голосе его я услышал не только очень тёплую нежность, но и настоящую гордость.

— Славная девочка, — сказал я и хотел сказать ещё что-то.

Но славная девочка так дерзко и сердито на меня посмотрела и так ужасно сморщила при этом свой маленький загорелый, облупившийся нос, что я проглотил все слова, какие вертелись у меня на языке. А она повернулась на босой ноге и, подобрав подол своего цыганского платья, ловко прыгнула в лодку.

— Эй, бабы, бабы!.. Не шуметь! Без паники! — закричала она хриплым, простуженным баском, совсем как Мотя. «И наверное, совсем как покойный отец», — подумалось мне.

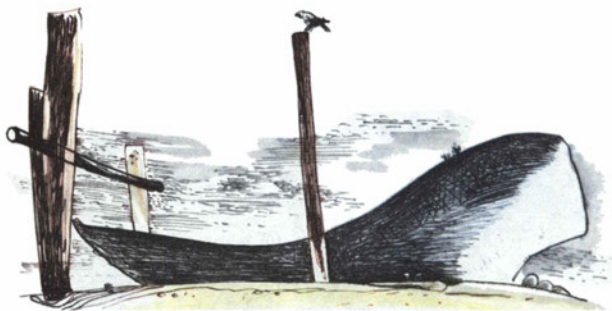
Я попрощался с Мотей, протянул ему руку.

— Ладно. До свиданья, — сказал он не очень внимательно и подал мне свою маленькую, крепкую, шершавую и мозолистую руку.

Поднявшись по лесенке наверх, на набережную, я оглянулся.

Мотя в своём длинном и широком балахоне и в огромных рыбацких сапогах, удаляясь от пристани, шёл уже по узенькой песчаной отмели, слегка наклонив голову и по-матросски покачиваясь на ходу.

А ялик уже отчалил от берега. Маленькая девочка сидела на вёслах, ловко работала ими, и вёсла в её руках весело поблёскивали на солнце и рассыпали вокруг себя тысячи и тысячи брызг.





*Самуил Маршак*

Бумагу сделали для нас  
В бумажном комбинате.  
Но разговор идёт сейчас  
О мастерах печати.

Мы знаем славных стариков,  
Печатающих книжки,  
А рядом с ними у станков  
Работают парнишки.

Один хороший паренёк  
Знаком со мною лично.  
Он невелик и невысок,  
Но трудится отлично.

Он предан делу всей душой,  
И посмотреть приятно,  
Как он командует большой  
Машиною печатной.



Чингиз Айтматов

# МОЙ КОНЬ, ТЫ МОЙ БРАТ

(Отрывок из повести «Ранние журавли»)





**С** этого и началось то, ради чего их отозвали из школы в зиму 1943 года...

Работы оказалось много, куда больше, чем можно было предположить. На конном дворе поспевай, да ещё каждый день бегали в кузницу помогать старому Барпы и его хромоногую молотобойцу ремонтировать плуги, с которыми предстояло выходить в поле. То, что прежде было выброшено на лом, теперь приходилось раскручивать, развинчивать, очищать от ржавчины и грязи. Даже старые, затупившиеся лемеха, уже отслужившие своё, и то заново пошли в дело. Кузнецы бились над ними, оттягивали жало, закаляли в огне и воде. Не каждый лемех удавалось отковать, но если удавалось, Барпы торжествовал. В таких случаях он заставлял молотобойца подняться на крышу кузницы кликнуть ребят с конного двора.

— Эй вы, плугари! — звал их хромоногий молотобоец с крыши. — Бегите сюда, устаке<sup>1</sup> вас зовёт к себе!

---

<sup>1</sup> Устакé (устá) — мастер.

Ребята прибежали. И тогда старый Барпы доставал с полки ещё горячий, увесистый воронёно-сизый, заново откованный лемех.

— На, держи, — предлагал он тому, чья очередь была на получение запасного лемеха. — Бери, бери, поддержи в руках. Полюбуйся. Примерь иди к плугу. Прикинь, как он ляжет под отвал. А? Красота! Как жених с невестой сошлись! А на пашне сверкать будет почище ташкентского зеркала. Рожи-то свои будете разглядывать в таком лемехе! А может, и девчонке какой подарить вместо зеркала, а? Вот будет вечный подарок! А теперь положи вон там, к себе на полку. Увезёшь потом на поле. Вот так. В другой раз будет другому. Всем будет. Никого не оставлю без лемехов. Каждому по три пары заготовлю. Единственно зубы себе новые отковать не смогу, а всё остальное сработаю. Лемеха вам будут. Вы ещё, ребята, много раз вспомните нас на поле. Ведь что главное в плуге — лемех! Ради лемеха всё остальное устроено. Лемех силен — борозда сильна. Лемех затупился — плугарь не годится. Вот ведь какая сказка... — Хорош он был, старый Барпы. Всю жизнь в кузнице. Прихвастнуть любил, но дело своё знал.

В шорную мастерскую тоже приходилось часто наведываться. Бригадир Чекиш обязал. Помогите, говорит, сбрую налаживать. Без сбруи, говорит, никуда не двинетесь. Плуги будут, кони будут, но без сбруи всё впустую. Тоже верно. Потому каждый заботился, помогал шорникам, как умел, подогнать загодя сбрую для своих коней.

Но главное, самое основное дело заключалось в уходе за тяглом, за лошадьми. Целый день с утра и до вечера, ещё и поздней уходил на работу в конюшню. Домой добирались лишь к ночи, задав на ночь последнюю порцию сена. Спешить, спешить надо было!

Времени оставалось в обрез. Шёл уже конец января. Стало быть, на выхаживание тягла оставалось тридцать, от силы тридцать пять дней. Успеют ли рабочие лошади восстановить и обновить силы к началу пахоты — зависело теперь только от самих плугарей. Конь спит, такое уж он создание, а в кормушке перед ним всегда должен быть корм, и днём и ночью...

По расчётам Тыналиева, в конце февраля, сразу, как только земля освободится от снега, плуги должны выйти в Аксайское урочище.

. . . . .

Третий день ходили плуги по Аксайскому урочищу. Третий день не умолкая понукали, погоняли плугари своих коней. И выгорбился тёмно-бурой полосой по увалу свежевспаханный начальный загон аксайских десантников. Задел был уже заметный, глаз радовался. Теперь как погода поведёт себя, так и дело пойдёт.

Сегодня с утра вроде бы погода заладилась. Облачко было, но над горами прорывалось иной раз солнце, разгуливалось небо над головой, снова хмурилось и снова закрывалось. А в обед резко похолодало и потемнело окрест. Снег или дождь, что-то собирается... Очень уж сумрачно стало вокруг. Выходя на пахоту после обеда, плугарям пришлось захватить мешки, чтобы закрыть головы от дождя или снега.

Шли по начатому загону со свалом борозды внутрь. Первым шёл Султанмурат, вторым, шагах в двухстах, — Анатай, замыкающим, почти в полуверсте, — Эркинбек. Сегодня плугари были в поле одни. Три плугаря и великие горы впереди. Три плугаря и великая степь позади. Председатель Тыналиев сумел побывать здесь лишь поначалу. Дел у него много, ускакал, оставив бригадира Чекиша налаживать пахоту. Сегодня и Чекиш уехал требовать оставшиеся в аиле упряжки Эргеша и Кубаткула. Вот и получилось, на третий день остались плугари сами по себе — с плугами, с конями, с землёю, которую предназначено было пахать и пахать, чтобы было где урожай собирать, чтобы было чем насытиться людям...

Главная забота пахаря — чтобы плуги ходили, чтобы лошади, втягиваясь в работу, сохраняли тело, чтобы хватило их сил до конца весны. Это важно. Очень важно. В первый день, когда начали пахать, через каждые десять — двадцать шагов лошади останавливались передохнуть. Задыхались. Пришлось чуть приподнять лемеха, уменьшить глубину вспашки. Но это вынужденная мера до тех пор, пока тягло втянется в хомут.

Сегодня уже заметно лучше пошла работа. Дружней берут кони, свыкаются, идут четвёрки, тесно сомкнувшись, припадая к земле, вытянув от напряжения шеи, как бурлаки на картинке в учебнике. Шаг за шагом, шаг за шагом тянут и тянут плуг, режущий лемехами толщу земную.

Но погода подводит. Вот уже снегом запахло, замелькали



редкие белые хлопья... Значит, зима недобрала ещё своё, значит, решила напомнить о себе на прощание. Зря она это делает. Для пахарей очень некстати...

Султанмурат успел накинуть на голову мешок, но всё равно это не спасало его от снегопада. Сидя верхом на бороздовом коне в середине упряжки, размахивая над головой кнутом, он всё время открывался ветру то с одной, то с другой стороны. Снег пошёл густой, волглый, быстро тающий. Замельтешило, закружило вокруг. В плывущей снежной мгле скрылись горы, мир сомкнулся. И только понукающие крики плугарей носились в этой мгле, как крики птиц, захваченных глухим ненастьем.

А плуги шли. Чёрные плуги то появлялись на пригорке, как на гребне волны, то снова исчезали в низине...

Припадая к борозде, словно бы выползая из самой земли, шли четвёрки жадно дышащих, карабкающихся лошадей. Снег мгновенно таял на их горячих, напряжённых спинах, стекая ручьями по бокам. Тяжело коням, очень тяжело, земля намокла, заскользила под копытами, сбруя отяжелела от влаги, лемеха застревают, засасываются в липнувших пластах целины. Но нельзя останавливать плуги. Надо пахать. Завтра, когда глянет солнце, эти борозды проветрятся и пашня будет готова. Нельзя терять времени.

Плуг застревал. Султанмурат то и дело слезал с седла, счищал кнутовищем комья глины с лемехов и, покричав следующим сзади Анатаю и Эркинбеку, услышав их ответные голоса, снова протискивался между мокрыми сбруями и телами лошадей к бороздовому коню, снова вскарабкивался в седло, и снова пахарь шёл вперёд.

А снег не переставал. Плыли чёрные упряжки плугов, как корабли в белом тумане. И в той кружащей снежной тишине, поглотившей все звуки, носились над полем лишь оклики плугарей:

- Ана-та-ай!
- Эркин-бе-ек!
- Султанмура-а-ат!

По лицу стекала вода, то ли талый снег, то ли пот; руки на поводьях взбухли, посинели от холода и сырости, ноги сдавлены с обеих сторон боками лошадей, трущихся друг о друга, больно ногам, хочется их куда-то убрать — и некуда, но Султанмурат понимал, что по нему, по следу его идут Анатай







и Эркинбек, что втроём они — шесть лемехов, что не имеет он права останавливать среди дня шесть лемехов, пашущих аксайскую землю. Только бы кони выдюжили, только бы кони не сдались. И потому он мысленно обращался к ним, внушал им:

«Потерпите, рождённые от Камбар-Аты<sup>1</sup>, подружней налегайте. Ведь не каждый день будет так тяжело. Сегодня снег, а завтра его не будет. Вперёд, вперёд, чу, чу! Потерпите, рождённые от Чолпон-Аты, вон впереди конец загона, сейчас мы развернёмся там и пойдём в обратную сторону. Потерпите, не сбавляйте шаг. Я не имею права избавить вас от плугов. Для этого мы вас готовили всю зиму. Другого выхода нет. Я гоню вас по мягкой и твёрдой земле, вам тяжело, но иначе хлеб не рождается. Старик Чекиш говорит, что так было и так будет вовеки. Он говорит, что хлеб, каждый кусок хлеба полит потом, только не все знают и не все думают об этом, когда едят. А нам очень нужен хлеб. Очень нужен. Потому мы с вами здесь, на Аксае.

Чабдар, ты мой брат, ты мой бороздовый конь. Ты тянешь плуг и меня несёшь на себе. Прости, что и тебя хлещу кнутом. Так надо. Не обижайся, Чабдар.

Чонтору, ты идёшь слева, ты ступаешь по пашне, тебе тяжелее всех, но ты самый сильный после Чабдара. Тебя, Чонтору, отец мой Бекбай всегда хвалил. Помнишь? А помнишь, как все мы ездили в город... Писем нет от отца давно уже, это страшно, вам, лошадям, этого не понять. Когда люди на войне долго не едят — это очень страшно. Мать совсем исхудала от тоски и страха. Когда оплакивали анатаевского отца, больше всех и сильнее всех плакали Инкамал-апай и мать. Они что-то знают, что-то недоброе, но не говорят. Они что-то знают... Чу, чу, Чонтору, я не позволю тебе сдаваться. Вперёд, Чонтору! Держись!

И ты, Белохвостый, ты тоже мой брат. Ты идёшь справа от меня, в середине упряжи. Ты должен здорово тянуть, вы с Чабдаром коренники. Ты красивый конь, у тебя необыкновенный белый хвост. Но ты не сдавайся, не падай духом. Я не позволю тебе уставать. Чу, чу, Белохвостый! Не подводи!

Брат мой, Карий, ты простой и хороший конь. Когда я выбирал тебя в свою четвёрку, я очень надеялся на тебя. Ты

---

<sup>1</sup> Камбар-Ата — мифический покровитель лошадей.

работяга и нравом смирен. Я и тебя очень уважаю. Ты идёшь с самого края, и тебя всегда видно. По тебе судят со стороны, как дела наши, Карий, брат мой. И я тебя не обижу, ты только тяни, тяни, не сдавайся. Я тебе обещаю: когда мы закончим пахать и сеять на Аксае, когда мы будем возвращаться в аил, ты будешь идти также с края, чтобы все видели тебя».

Лошади остановились, изнемогли... Султанмурат слез с седла, с трудом удерживаясь на отёкших, сдавленных ногах, как пьяный прошёлся, ковыляя вокруг упряжи. И так ему сделалось больно, невыносимо жалко взмыленных лошадей, дрожащих, мокрых от ушей и до копыт, тяжело, запалённо дышащих, что от жалости он застонал.

А снег всё падал и таял, падал и таял на дымящихся лошадиных спинах. Султанмурат сбросил с головы намокший тяжёлый мешок, непослушными, окоченевшими руками растягивал петли сбруи, а потом не выдержал, разрыдался, обнимая шею Чабдара, и, плача, шептал:

— Простите меня, простите! — ощущая на губах горячий, горько-солёный вкус конского пота...

— Эй, Султанмурат! Ты что там? — донёсся голос Анатая, приближавшегося по борозде.

— Давай распрягай! — крикнул в ответ Султанмурат.

Зато утро следующего дня выдалось ясное и чистое. Никаких следов вчерашнего ненастья. Только сырость, только бодрящий холодок, только лёгкий румянец над землёй, только подновлённый белый снег на горах. Раннее солнце выкатывалось из-за гор, оповещая мир о себе ликующим, разливающимся в полнеба заревом весеннего восхода. Весь обширный Аксай со всеми его логами, равнинами, пригорками и низинами проглядывался далеко-далеко. Зато горы Великого Манасового хребта, подле которых они родились и выросли, казалось, подошли к ночи поближе — неправдоподобно, но шагнули горы в ту ночь в Аксай, к ним, чтобы, проснувшись поутру, пахари изумились их величию, их красоте и могуществу.

Близко и далеко, рядом и недоступно сияли на восходе горные кряжи...

Да, великое утро занималось в тот день на Аксае. На

пашню вышли не спеша, решили подождать, чтобы землю обветрило.

А тем временем лошадей поскребли, сбрую привели в порядок, пересыпали подмокший овёс. Солнце быстро нагрело. И тогда они двинулись к плугам. Каждый на своей четвёрке. Плуги засосало на вчерашних бороздах. Втроём выворачивали каждый, очищали лемеха, смазывали колёса. А потом впрягли лошадей, рассчитывали к вечеру довершить загон, а с утра передвинуться на новый участок. Работа шла споро. Лошади, отдохнувшие за ночь, ухоженные поутру, бодро трудились. Втянулись, стало быть, теперь уже по-настоящему. Втянулись в нелёгкую лямку плуга. Но вчерашняя пахота по снегу оправдала себя — почва обветрилась, вывернутые по снегу пласты рассыпались под лучами солнца на мелкие ровные комочки. Значит, земля не «поломана», не «смята». Значит, пашня качественная.

Хорош был тот день. Бывают такие дни, когда всё ладится, когда жизнь понятна, прекрасна, проста. Не зря готовились всю зиму, трудились, школу вынуждены были оставить; аксайский отряд действует, плуги идут, сегодня должны прибыть Эргеш и Кубаткул. Тогда их будет пять плугов, это десять лемехов. Сила. Настоящий десант! А потом посеют, заборонят поля — и тогда жди урожая! Яровой хлеб — совсем неплохой хлеб. Бригадир Чекиш говорит, яровой хлеб по урожайности уступает, но самый вкусный хлеб из всех хлебов. Дело пойдёт. Дожди будут. Не может быть, чтобы дожди воспротивились, когда столько труда уходит, дожди будут, только бы там, на фронте, держались, наступали наши, чтобы на счастье уродился этот хлеб, не застрял в горле...

Так они шли по загону. Впереди Султанмурат, за ним шагах в двухстах Анатай и почти в полуверсте Эркинбек...

Солнце пригревало всё больше. И на глазах зазеленели лёгким налётом муравы степные пригорки. Как в сказке: едешь в один конец — зеленеет справа, едешь в другой конец — зеленеет слева. Земля влажно дышала обновившимся духом. А плуги шли по Аксаю, оставляя позади гривы свежих борозд...

Вспорхнул жаворонок с земли. Зазвенел, залился неподатлёку, и ещё где-то запел жаворонок, и ещё где-то. Султанмурат улыбнулся. Поют себе в удовольствие, ни дома у них, ни листа, ни ветки над головой, живут себе в голой степи, как



умеют. И довольны. Весной довольны, солнцем довольны! А где они были вчера, как переждали непогоду? Ну, то теперь позади.

Весна теперь не уступит своего. И работы ещё много, это только начало. Ну так что ж! Вот придут сегодня Эргеш и Кубаткул, и тогда всем десантом навалятся, пойдёт дело, пойдёт...

А потом было самое волнующее событие.

Первым услышал Анатай. Молодец. Это он закричал что есть мочи:

— Журавли! Журавли летят!

Султанмурат глянул вверх: в чистом, беспредельно синем и беспредельно бездонном небесном просторе летели, медленно кружась, перестраиваясь на ходу, перекликаясь, журавли. Большая стая. Птицы были высоко. Но небо было ещё выше. Необъятное огромное небо — и стая журавлей, плывущих живым островком в этой необъятности. Султанмурат смотрел, задрал голову, и лишь потом спохватился, неистово закричал:

— Ура-а! Журавли!

Все трое прекрасно видели, что то были журавли, но кричали друг другу, как великую неожиданную новость:

— Журавли! Журавли! Журавли!

Султанмурат вспомнил, что ранний прилёт журавлей — хорошая примета.

— Ранние журавли — хорошая примета! — крикнул он Анатаю, обернувшись на седле. — Урожай, урожай будет!

— Что, что? — не расслышал Анатай.

— Урожай, урожай будет!

Анатай, обернувшись в сторону Эркинбека, кричал ему в свою очередь:

— Урожай! Урожай будет!

И тот отвечал им:

— Слышу, слышу! Урожай будет!

А журавли плыли, купаясь в голубизне неба, плыли не спеша, кружась на плавно колышущихся крыльях, перекликаясь то сдержанно, то многоголосо, все разом, и снова в их рядах наступало спокойствие. В прозрачности того дня были хорошо видны их точёные вытянутые шеи, и тонкие клювы, и полуприжатые к телу ноги у одних и плотно прижатые у других. Иногда мелькали в движении белые концы маховых

перьев по краям крыльев. Тогда-то, разглядывая птиц, плугари заметили, что стая медленно идёт на снижение. Журавли всё ниже и ниже спускались к земле, их вроде бы сносило каким-то течением туда, к дальним пригоркам. Никогда в жизни Султанмурат не видел журавлей вблизи. Они всегда проплывали над головой, как видение, как сон.

— Смотри, садятся, садятся! — крикнул Султанмурат, и все трое, прыгнув с сёдел, оставив плуги и упряжи, кинулись в ту сторону, куда опускалась журавлиная стая.

Быстро бежали. Вовсю! Хотелось увидеть журавлей вблизи: какие они из себя? Вот будет здорово!

Ах, как хорошо бежалось Султанмурату! Земля ложилась под ногами, сама шла навстречу. И вместе с землёй снежные горы бежали навстречу, и журавлиная стая, кружащаяся в воздухе, с которой он не спускал глаз, плыла навстречу.



*Григоре Виеру*

\* \* \*

Положит в землю Человек зерно,  
Прольётся Дождь — зерно орошено.

Крутая Борозда и мягкий Снег  
Зерно укроют на зиму от всех.

Весною Солнце выплывет в зенит  
И новый колосок позолотит.

Колосьев много в урожайный год,  
И Человек их с поля уберёт,

Чтоб золотые руки Пекарей  
Горячий хлеб достали поскорей.

А Женщина на краешке доски  
Румяный хлеб нарежет на куски.

Всем, кто лелеял хлебный колосок,  
По совести достанется кусок...

Зато великодушней не найдёшь,  
Чем Борозда и Солнце, Снег и Дождь:

Свои ломти, от щедрой доброты,  
Уступят малышам, таким, как ты.



Фёдор Абрамов  
**НА СЕНОКОСЕ**

Отрывок из романа  
«Две зимы и три лета»







**И**юнь перевалил за вторую декаду, на Кубани пшеница вымахала, — даже газету читая, слышишь, как колос шумит. А у них что? Еле-еле обозначились всходы. Жалкие, рахитичные. А с травой на лугах под горой и того хуже: зажали холода. Вороне негде укрыться.

И Лукашин, с тоской поглядывая на голые поля и наволоки, уже начал было думать: всё. Без хлеба и без сена останемся. Никакая сила теперь не выправит то, что упущено из-за этих затянувшихся холодов.

Но есть, есть, оказывается, такая сила на Севере: белые ночи. Те самые белые ночи, от которых ещё и сейчас томился он. На них-то, на белых ночах, оказывается, и держится Север.

А было так: с вечера над деревней прошумел дружный, с молнией и громом ливень, а наутро, куда ни глянь — зелёное пламя бьёт из супесей и подзолов. И всё это за одну ночь.

— Можно, можно и у нас жить, — сказал Лукашину Степан Андреевич. — Лето у нас короткое, да зато бог белые ночи дал. Вот растение и гонит в рост круглые сутки.

И верно, северное лето с этого времени заработало без передышки. Оно на всех парах устремилось догонять южное.

И быстро на зелёных конях подкатила к Пекашину сенокосная страда — знойная, потная, в туче овода и комара.

У Пряслиных такого ещё не бывало.

Ворота настезь, двери в избу настезь. Крыльцо стонет под ногами. Кто тащит косы, обёрнутые мешковиной, кто — косовища и грабли, кто — корзину с посудой и харчами, кто бренчит чайником и котелками, чёрными, насквозь продымлёнными ещё в прошлогодние страды...

— Ушат-то, ушат-то не забудьте! — кричит, выбежав на крыльцо, Анна. — Может, грибы пойдут, пособирайте сколько.

— А удилища нам взять? — спрашивают Петька и Гришка.

— Миша, Миша! — кричит Лиза. — А соль-то мы не позабыли?

И Михаил, чертыхаясь, снова и снова перевязывает воз.

.....

Праздник, если вообще можно так назвать выезд на дальний сенокос, достался ребятам нелегко.

Первое условие, которое им было поставлено, — без троек закончить год. Затем — сушьё. Разорваться, а засушить рыбёшки на страду.

Ну, ребята и старались. Утром глаза продерёшь, а они уже у окошка, уроки свои долбят. А из школы прибежали — куда? На улицу? Нет, к реке. И сидят, сидят за удилищем — хоть дождь, хоть ветер. И если бы не они, не их старание, ничего бы из его затей с семейным выездом на пожню не вышло: не с чем ехать.

— Ну, ничего не забыли? — на всякий случай ещё раз спросил Михаил.

— Да нет, кабыть, — ответила мать.

Михаил поднял руку: трогай. И тут к нему подошла Анфиса Петровна.

— А помнишь, Михаил, я однажды тебе говорила: придёт, говорю, такое время — бригадой поедут Пряслины на

сенокос? Не помнишь? — От волнения у Анфисы Петровны побелели щёки, росой окропились чёрные глаза.

У Терёхина поля, там, где дорога ныряет в густой березняк, Лизка, вздохнув, сказала:

— Помашите в последний раз. Дальше сузём начинается — не увидите больше деревни.

И Петька и Гришка, уже столько раз оглядывавшиеся назад и махавшие рукой, оглянулись снова.

Мать с Татьянкой — далеко видать в ясную погоду от Терёхина поля — всё ещё стояли у колодца (Татьяна на изгороди). И там же был ещё один человек — Анфиса Петровна. Михаил узнал её по белому платку.

Этот белый платок памятен всем в деревне ещё с войны. Бывало, как определить, есть ли председатель на поле? А по платку.

Нет такого другого платка в Пекашине. Ярче снега горит. То ли оттого, что с мылом стирали, тогда как другие нажимали на шёлк, то ли в чём другом секрет.

И, завидев этот знакомый, сверкающий своей белизной платок, Михаил опять удивился Анфисе Петровне. Это сколько же годов она помнила? — спросил он себя. С осени сорок второго. Шесть лет... Кабы не она, Анфиса Петровна, ещё неизвестно, что было бы с ихней семьёй.

А нынешний выезд на сенокос? Кому они обязаны? Да всё ей же, Анфисе Петровне. Кабы она слово на правлении не замолвила, разве бы он шагал сейчас со своей оравой?

Жильё ребятам не понравилось. Избушка старая, заросла ремзой да крапивой — только одна крыша в зелёных заплатах мха проглядывает. К дверям не подступишься — ольшаник. Плотным мохнатым тыном поднимается ельник за избушкой.

От гнуса гул и вой стоял в воздухе.

Тут из-за того, что солнышко не заглядывает в этот угол, обычного распорядка не существовало: днём овод-красик, а к вечеру, после того как спадёт жара, — комары, мошкара, слепни. Нет, тут вся эта нечисть шпарила без передыху, круглые сутки.

— Вот так ставровка, — сказала Лизка, всё ещё с изумлением оглядываясь по сторонам. — Никогда бы не подумала, что в таком месте избу ставят. Что уж Степан Андреянович? Умён, умён, а тут соображения не хватило. Вон бы где избу ставить, — по-своему рассудила Лизка и указала на весёлый ромашковый угорышек у Синельги. — Там и вода рядом, и глазу есть где отдохнуть.

Некогда, да и незачем было объяснять Лизке, а заодно и ребятам, почему Степан Андреянович поставил избу в стороне, а не на пожне. Ведь ежели сказать, что раньше каждой саженью пожни дорожили, не поверят. Потому что сейчас не только богом проклятые суземные ручьевины — русь, то есть луга вокруг дома, частенько под снег уходят.

Первым делом Михаил стал распрягать коня. Всем досталось за дорогу — шесть вёрст сузёма пятнадцати и двадцати обычных стоят, а конь просто на глазах сел. Они, люди, всё-таки выбирают: тут по валежинке, там бровкой, здесь по кочкарнику скок, а лошадь всё серединой, ни одной грязи не минует, да ещё с санями, с поклажей.

— Ну, чего стоите? — прикрикнул Михаил на приунывших ребят. — На курорт приехали? — Он вытащил из наторенного топора, подал двойнятам. — Дуйте в лес за дровами!

Началась работа по устройству жилья. Вдвоём с Лизкой они быстро обкосили вокруг избы, которая, судя по всему, и попервости не отличалась удобствами: вместо рам — чёрные продымлённые ставешки-затвиги, вместо дверей в сенцах — жердяные засовы, на которые в дождь навешиваются пластины берёсты. Крыша тоже не из досок, а из жердняка, застланного в несколько раз берёстой, теперь очень обветшавшей, искрошившейся, густо поросшей зелёным мхом. В общем, Степан Андреянович возводил жильё по правилу: лишь бы над головой не капало да было где от гнуса уберечься. И старик, наверно, и сейчас не стал бы вырубать вокруг кусты. Зачем время тратить? Обойдётся и так. А Михаил вырубил — большие окна проделал в кустарнике над ручьём слева от избы и начисто срезал ольшаник вдоль пригорка, так, чтобы ничто не закрывало тот, обрывистый, из красной глины берег и главное — чтобы ветерок заглядывал в их угол и выдувал гнуса.

Тем временем с дровами пришли ребята и наперебой стали рассказывать о том, что недалеко от избы по дороге ходит корова с телёночком — бо-о-ль-ша-а-я...

Михаил рассмеялся:

— Дак чего же вы не гнали её сюда? Вот бы и с молоком зажили.

— А мы самой-то коровы не видели. Мы только следы в грязи видели. Бо-о-ль-ши-и-е! А у телёночка копытца маленькие, вот такие.

— Дуральё! У этой коровы знаете какие копыта? У волка череп трещит, если долбанёт.

— Лосиха?

— А то. Тут зверья всякого. Подождите, завтра начнём косить — ещё не то увидите. Сам Михаил Иванович Топтыгин притопаёт. Он любит новеньких.

— Давай дак не пугай их, — сказала Лизка, только что на четвереньках выползшая из дымной избы. Слёзы текли по её скуластому лицу.

Пока брат обрубал вокруг кустарник, она выгребла из избы старую сенную подстилку, потом затопила каменку. И вот теперь вся избушка была окутана густым белым дымом. Дым валил из дымника — специального проруба в стене под крышей, дым шёл из дверей, из окошек, из пазов — Степан Андреянович не прошил стены, пожалел лишних полдня.

.....

Садилось за избой солнце, и всё вокруг: и берёзовые стволы у ручья, и ребячьи лица, и гнедой Лысан, позвякивающий колокольчиком внизу на пожне, — всё вокруг стало алым.

Хороший, ведренный день сулил закат. И на ведро нацелился их доморощенный барометр: в струнку, во фронт вытянулась тоненькая, оскобленная вересинка, воткнутая в щель стены.

Ребята, выйдя из-за стола, начали играть в перекличку с эхом. Приятное занятие, особенно на сытое брюхо. А они сегодня нагрузились основательно. Помимо молока опорожнили котелок ячневой каши (не надо бы этого делать: кашу на пожне, как свет стоит, варят только после первого зарода, да так уж получилось — Лизка недодумала),



затем — рыба. Рыбу сперва хотели засолить да поставить в берестяном туесе в ручей. До матери. А потом — ладно, ешь, ребята: не всё худые зарубки должны быть в памяти, надо иметь и хорошие. В общем, понравилась такая страда ребятам.

Михаил, докурив сигарку, принялся насаживать ребячьи косы. Петька и Гришка с интересом присматривались, как он это делает.

— Тебя, между прочим, тоже касается, — кивнул Михаил малому, который в это время сам с собой играл около огня ножом-складнем. — Потом кем ни будешь, а это ремесло не повредит.

Тут Лизка от этих самых кос перекинула мостик в будущее — недаром Егорша прозвал ее заместителем по полит-части.

— Ну-ко, Федюха, скажи, — с живым любопытством спросила Лизка от стола (она прибирала посуду), — кем ты потом будешь?

Федюха насупился — и ни слова.

— На вот! — возмутилась Лизка. — Он и не думает.

— А надо думать, — поддержал Михаил начатый сестрой разговор. — Большие стали. Вот ты, Петро. Кем станешь, когда вырастешь?

Петька застенчиво переглянулся с Гришкой.

— Мы как ты.

— Что, как ты?

— Как ты потом будем.

— Голова! Далеко же ты собрался шагать! Ну, а Григорий что скажет?

Лизка с усмешкой покачала головой.

— А чего спрашивать Григория? Раз уж Петька сказал, так и он. Они у нас какие-то — что один, то и другой. Как это у вас, ребята, выходит? Надо немножко каждому думать. При-выкайте. Потом жить порознь будете — не побежите друг к дружке.

— А мы вместе будем, — сказал Петька.

Михаил рассмеялся:

— Э, нет. Вместе всё не получится: а как же, когда жениться?

Лизка с укором посмотрела на него: дескать, о таких вещах можно бы и не говорить.

Но Михаила не на шутку заинтересовал этот разговор. В самом деле — что из них будет? Ведь вот — малые-малые, а вырастут когда-нибудь. Как они сами-то себе это представляют? Анфиса Петровна всё ждала да мечтала, когда пряс-линская бригада на пожню пойдёт. А ведь настанет время, когда пряс-линская бригада немного дальше, чем на пожню, пойдёт. В жизнь пойдёт.

И он снова стал допытываться у близнецов, кем они хотели бы стать, а когда те опять ответили, что хотят стать такими же, как он, Михаил покачал головой:

— Нет, ребята. Что я? Двадцать лет прожил, а что видел, где бывал? А жизнь, она огромная. И страна у нас огромная. Учиться вам надо. Мне вот не пришлось. И ей не пришлось. — Михаил кивнул на сестру.

Лизка вздохнула:

— До учёнья разве мне было? Я, бывало, на уроке си-жу, а на уме-то у меня корова. Есть ли трава? Да где ре-бята?

— Это о вас она, — сказал Михаил. — Так что потом вы жмите. И за меня, и за сестру выучиться надо.

— Татьяна у нас будет учёная, — сказала Лизка. — Вот уж эта выбьется в люди. Москва-девка! Где она теперь, рёва?

При этих словах ребята посмотрели на малиновый ельник за Синельгой — в той стороне было Пекашино.

— Что, по дому заскучали? — спросил Михаил и, продол-жая разговор, сказал: — Вы, ребята, в другое время растёте. Всё ладно, вам не придётся в четырнадцать лет вставать из-за парты да в лес идти.

— Слушайте, что брат-то говорит, — наставительно сказала Лизка. — Наматывают себе на ус.

— Я вот, к примеру, всё думал с коня на трактор пересесть. На тракториста выучиться. А не получилось. Так жизнь сложилась.

— Война Михаила-то съела, — сказала Лизка. — Да мы с вами. Его и в армию из-за нас не взяли. Чтобы мы с голоду не померли. Запомните у меня это. Хорошенько запомните. Потом где ни будете, в какие города ни уедете, чтобы у меня брата не забывать. Поняли?

Ребята, непривычные к столь серьёзному разговору, слабо закивали в ответ, а Михаил, глядя на Лизку, подумал: «Эх,



сестра, сестра. Да ведь и тебя, если на то пошло, война съела...»

Берёзы у ручья погасли. От Синельги наполнился туман. Ребята, отмахиваясь от комаров, поёживались, и нет-нет да и бросали исподтишка взгляд на избу, в которой Лизка устраивала постель.

Наконец Лизка вышла из избы.

— Долго ли вы ещё? — Она ступила босой ногой на колючую щетину выкошенной вокруг избы пожни, поморщилась: — Ну и роса здесь. Не то что у нас в деревне. Хороший день завтра будет.

— Хороший, — сказал Михаил. — Ну как, мужики? Будить вас до завтрака?

— Будить, — ответили двойнята (Федька уже был в избе).

— Ладно, посмотрим. А теперь спать.

За избой догорал закат. От варницы к светлому розовому небу голубой лентой тянулся дым. Звонко тренькал колокольчик на пожне, а самого коня не видно — молочный туман заливал пожню.

Михаил сидел у костра, попыхивая сигаркой, прислушивался к ребячьим голосам за стеной в избе, а глазом косился на давнишние буквы, вырезанные ножом на столе, — ПИГ.

Никто — ни ребята, ни Лизка, ни он сам, — никто не обратил внимания на эти три буквы среди множества других букв, которыми были покрыты плахи стола. А буквы-то были отцовские — Пряслин Иван Гаврилович. Их отец когда-то сидел за этим столом...

Солнышко только-только начало подыматься за рекой, а Анна уже входила в поля. С котомкой, с туесом, с граблями. И ей радостно было, что она раньше всех встала, раньше всех управилась с печью и коровой и раньше всех выходит на работу. А ещё ей радостно было оттого, что скоро она увидит своих детей.

Три дня она жила вдвоём с Танюхой, и ей, привыкшей к вечному ребячьему шуму и гаму, дом свой показался пустым и мёртвым.

Первая встреча со своими детьми у неё произошла ещё



задолго до Синельги, в берёзовых кустах за Терёхиным полем.

Тут Анна по старой привычке потянулась за веткой, чтобы лесной дорогой отбиваться от гнуса. И вот только она заломила берёзку, увидела сомлевшие ветки на вершинке. А немного подальше, на другой обочине дороги, тоже надломленные берёзовые ветки, только пониже.

И она поняла: ребята ломали. Те, с той берёзки, которую нагнула сейчас она, ломал Михаил, а за дорогой — двойнята. И она даже представила, как это было.

Бежали, бежали двойнята впереди, выхвалялись перед старшим братом — вот как мы умеем бегать, посмотри, Миша! — да вдруг услышали, что Миша берёзовые прутья ломает, и они давай ломать: так, значит, надо. Миша зря ничего не делает. А может, и сам Михаил крикнул: «Ребята, запасайтесь берёзой. Фашисты в воздухе!» — так, бывало, в войну называли оводов да слепней.

Дальше про то, как шли её дети сузёмом, стала рассказывать ей дорога.

Чётко, дождём не смыть, впечатал свой сапог Михаил, и шажище — метровка, точь-в-точь как у отца. А двойнята — те как олешки: где оставили следок, а где и нет. Лёгкие.

Свою ногу Анна старалась ставить в след дочери. Шаг у Лизы не крупный и не мелкий, как раз по ней, а самое главное — шла Лизка с разбором. Не то что Михаил. Михаилу всё равно: грязь ли, болото ли — всё прямо. Не любит обходы делать. А Лизка — нет. Лизка, если надо, и в сторону свернёт, и круг даст — только чтобы под ногой сухо было.

На второй версте, на грязях у Лешьей зыбки, Лизкин след внезапно оборвался. Анна глянула в одну сторону, глянула в другую — нет следа.

Она пошла обочинной, по осотистой бровке, рядом с натопами Михаила и двойнят. Но знакомого следа — круглый каблук с большой шляпкой у гвоздя — не оказалось и за грязями. Потом, спустя малое время, — босая нога на дороге, узкая и длинная. Лизкина, догадалась Анна. Это ведь ей сапог новых жалко стало. И вот когда начались грязи, сняла.

Сапоги для Лизаветы принёс Степан Андреянович уже

в самую последнюю минуту, когда Михаил с ребятами выезжал из заулка. Лизка была любимицей старика, дочь родную не все так любят, как он любил Лизку. В прошлом году пропадать бы Лизке без валенок в лесу — выручил Степан Андреянович. Разжился где-то шерстью, сам и скатал.

И валенки и сапоги, понятно, немалое дело по нынешним временам, да ведь и Лизка не в долгу перед Ставровыми. Ну-ко, с сорок второго года обстирывать да обмывать старика с парнем — стоит это чего-нибудь, нет?

Так, мысленно беседуя с детьми, угадывая по следам, как они шли, где останавливались, Анна и не заметила, как вышла к Синельге.

Надо бы передохнуть хоть немного, надо бы лицо сполоснуть: зажарела, запотела — не порожняком шла, но до отдыха ли, до прохлады ли речной, когда где-то совсем близко дети?

И вот он, её праздник, её день, она, выстраданная радость: пряслинская бригада на поже! Михаил, Лизавета, Пётр, Григорий...

К Михаилу она привыкла — с четырнадцати лет за мужика косит, и равных ему косарей теперь во всём Пекашине нет. И Лизка тоже ведёт прокос — позавидуешь. Не в неё, не в мать, а в бабу Матрёну, говорят, ухваткой. Но малые-то, малые! Оба с косками, оба бьют косками по траве, у обоих трава ложится под косками... Господи, да разве думала она когда-нибудь, что увидит эдакое чудо!

С самого рожденья не повезло двойнятам. С самого рожденья им пришлось всё делить пополам друг с другом: и молоко материнское, и одежду, и обувь, — и в войну, казалось, им первым карачун.

А они устояли. Они выжили.

Весело, со свистом летает серебряная коса у Михаила, а у Лизки, по пояс зарывшейся в густую траву, на виду другая коса — девичья, тугим льняным ручьём стекающая по запотелой, в мокрых пятнах спине, и фик-фик — синичками звенят косы двойняток.

И видно, не одной ей, Анне, было удивительно то, что делалось в этот час на поже под высокими берёзами с искрящимися на солнце макушками.

Сверху, над пожней, большими плавными кругами ходил

пепельно-серый канюк и не кричал, как всегда, «пить-пить», а молчал.

Молчал и смотрел.

Смотрел и дивился.

Лизка первая увидела мать, закричала на всю пожню:

— Мама, мама пришла!

Затем, не долго думая, бросила посреди пожни косу, побежала к матери, помогла снять со спины котомку.

— А вон-то, вон-то! — живо зашептала она, кивая на двойнят. — Мужики-то наши. Давай дак не фасоньте! Видите ведь, кто пришёл.

Петька и Гришка выдержали — ни разу не обернулись назад. Дескать, некогда глазеть по сторонам. На работе мы. И только когда старший брат объявил перекур, только тогда дали волю своим чувствам: скоком, наперегонки кинулись к матери.

— Мама, мама, ты видела, да?

— Видела, видела.

— Как не видела, — рассмеялась Лизка. — Мы только и смотрели на вас. Ну уж, говорим, и ребята у нас. Поискать таких работников.

— А где у вас малый-то? — спросила, оглядываясь по сторонам, Анна. — Почему не видно?

— Удит, — ответила Лизка и указала на дымок за мысом. — С косьбой ничего не получается. Позавчера принимался. Овод да муха, вишь, мешают. Выстал среди пожни, обмахивается веничком. Федюха, Федюха, говорю, ты ведь не в бане. На пожне-то косой от гнуса отмахиваются, а не веником...

Все — и подошедший к этому времени Михаил, и двойнята — рассмеялись: Лизка мастерица была разыгрывать домашние спектакли.

— Малой ещё, — вступилась по обыкновению за Федюху Анна. — Подрастёт, будет и он косить.

— Ничего не малой, — возразила Лизка. — Больно лени много у этого малого, вот.

— А нас, мама, оводы не кусают. Смотри-ко! — Петька и Гришка были без кукол — накомарников. Сняли, подражая старшему брату, — тот всё лето ходил с открытой головой.

А напрасно сняли, подумала Анна. Дорого обошлась им



эта лихость. До волдырей, до коросты раскусаны бледные, бескровные лица.

Отдыхать сели на выкошенный угорышек к Синельге. Прямо на солнцепёк. Тут по крайней мере не донимает комар.

Тues с молоком Михаил опустил в речку под густую черемшину. Котомку с хлебами повесил на сук берёзы — чего-чего, а мышей на Синельге хватает.

Анна, отдуваясь от жары (все, кроме Михаила, — и двойнята, и Лизка — сгрудились вокруг матери), стала рассказывать деревенские новости.

Михаил попыхал-попыхал ещё немного сигаркой и принялся налаживать косу для матери.

Лизка тоже поднялась. Достала из-под травы свою дорожную обнову — она сидела босиком, чтобы не жарить зря сапоги на солнце, — быстрёхонько обулась.

— А с этими-то что будем делать? — Анна, не решаясь пошевелиться, кивнула себе за плечо.

Петька и Гришка так уробились, что с первых минут, как только обхватили её сзади, начали засыпать. Она это почувствовала по их жаркому дыханию, по расслабленной тяжести, с которой они навалились на неё.

Михаил крикнул:

— Подъём, помощники!

И до чего же круто да проворно вскочили двойнята! Будто и не спали. Мигнули раза два-три — и глаза чистые-чистые, до самого донышка просвечивают. Как Синельга в ясную погоду.

— А мы и не спали. Мы это так, да, Гриша?

— Так, так, — успокоила их Анна. — Не расстраивайтесь. Я сама чуть было не заснула, ребята.

Солнце набирало свою дневную силу. Над пожней стоял гул от овода, от слепня.

Михаил и Лизка спокойно и деловито вошли в траву. А ей куда, в какую сторону?

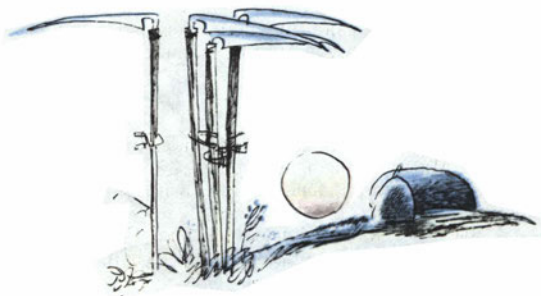
Двойнята, оседлавшие тенистую кулижку возле кустов, звали: «Мама, мама, иди к нам!» — и в другой бы раз она охотно, с радостью присоединилась к ним (что поделаешь, если с косою она с малых лет не в ладах), но сегодня этого нельзя было делать. Нельзя.

Сколько лет в глубине своей души она ждала этого семей-

ного праздника, самого большого торжества в своей жизни, — так как же смотреть на него из кулижки, из кустов?

И она пошла за взрослыми — за Михаилом и Лизаветой.

Хороша, красива пожня в цветущей траве. Как шаль нарядная. И хороша пожня, когда на ней лежит пахучая, медовая кошеница. Но всех краше и лучше пожня, когда она голая. Когда с неё только что сено сгребено.





*Глеб Горбовский*

## МУСКУЛЫ

Я глажу их нежно,  
мне  
верить в них  
нужно.  
Растут они  
спешно,  
растут они  
дружно.  
Рукав у рубашки  
становится  
узким.

Так будь  
колобашкой!  
Будь каменным,  
мускул!  
Будь жёстким  
и стойким,  
мой каждый,  
мой сотый...  
Ведь жить на земле —  
это значит  
работать!



Николай Григорьев

**ДЯДЯ РУСАКОВ  
И МАЛЬЧИКИ**





### САША МЕЧТАЕТ О КНОПКАХ

**Я** дедушка. Бывает, вспомнится — и расскажу что-нибудь из своей жизни.

Слушатели мои — внук Алёша и его приятель Саша. Один первоклассник, другой второклассник уже.

Алёша темноволосый, Саша светленький.

За играми — то вместе, то врозь по углам. То дружат, то подерутся.

Но стоит мне начать про войну — сразу между ними мир и согласие. Сидят в обнимку, дыхание затают, слушают.

Вот и сегодня у нас вечер рассказов. Готовиться мне недолго: сам участвовал в боях — и с белогвардейцами в гражданскую войну, и с немецкими фашистами — в нынешнюю.

А пока читаю газету. Жду, когда Алёша приготовит уроки.

— Кончил! — говорит он наконец и подаёт мне тетрадки. Проверяю. Всё правильно.

Ждём Сашу. Он в нашем же доме, только выше этажом.

Но вот и сам Саша. Влетает вихрем:

— Нн-нне... опоздал?

Я откладываю газету. Можно начинать.

Однако не так-то просто усадить Сашу.

У него новость:

— Слыхали, какая появилась машина?.. Арифметику делает. Только сунь в неё тетрадку, нажал кнопку — и готово. В полсекунды задачу решает. Хоть самую трудную. А надбавь ещё несколько секунд — за всех школьников решит. Даже за весь город может... Вот здорово, а? Эх, мне бы такую машину. На день рождения — вместо всяких там подарков!

Саша не забывает и друга.

— Я и за тебя, — говорит, — кнопку нажму. Обязательно.

Но Алёша в арифметике силён. Вот если бы от уроков труда избавиться — другое дело. Задают клеить коробки, а у него пальцы склеиваются. Будто в перепонках, как у гуся.

— Деда, — говорит Алёша, называя меня на свой лад. И заглядывает в глаза. — Скажи, а ты подарил бы мне машину?

— Это чтобы клеила коробки? А тебе только кнопку нажимать?

— Ага! Щёлк — и класс завален коробками до потолка! А ещё...

У Алёши, вижу, глаза загораются. Ему уже мало коробок: все задания по труду готов свалить на машину.

— Эх, — говорю, — мальчики, мальчики... Да ведь от таких ваших машин не польза, а вред! В самом деле. Представьте, что вдруг бы появились машины, которые всё делают за человека...

Алёша и Саша переглянулись.

— А чем плохо? Это даже очень хорошо!

— Согласен, — говорю, — хорошо! Но надолго ли?.. Вот идёт поезд. Вдруг что-то испортилось. Машинист тычет в кнопку, тычет, а поезд ни с места. Что испортилось, машинист не знает, ведь его учили только кнопки нажимать. Значит, слезайте, пассажиры, в чистом поле, тащитесь с чемоданами пешком.

Ещё пример.

Мельница. Зерно мелют машины — мельнику только кнопку нажать. Бац — в машинах поломка. И целый город остаётся без хлеба.

Кто же вновь пустит мельницу? Да никто. Ведь люди умеют всего лишь нажимать кнопки.

Так одна за другой изнашивались бы, ломались все машины на свете. Выпали бы кнопки из гнёзд — значит, и нажимать не на что!..

И остались бы люди без хлеба, без одежды, без домов, без поездов...

Слушатели мои притихли. Молчат, озадаченные.

— Есть, — говорю, — о чём подумать, не правда ли?

— Мы подумаем, — согласились оба. — А про войну будет?

— Конечно! Я же обещал.

И рассказал я ребятам вот какую историю...

## СЛУЧАЙ В БОЮ

«Идёт война народная, священная война!»

Это не только в песне пелось. Фашистская Германия обрушилась на нас всей силой своего оружия. Мы выдержали удар, а затем разгромили врага, потому что отпор врагу был всенародным.

Дни и ночи не остывали печи на заводах Сибири и Урала. Там строили самолёты, танки, изготавливали пушки, миномёты.

Всё это тотчас же вступало в бой.

Отлично был вооружён и сам солдат: в руках автомат, пояс обвешан гранатами. Грозен советский солдат в атаке!

С этого я начал рассказ.

— Но знавал я, — говорю, — одного сержанта, который воевал без оружия.

— Ага, понятно, — сказал Саша. — Это был силач, как Власов или Василий Алексеев.

— Нет, — говорю, — вовсе не силач. Ростом, правда, высок, темноволосый, как вот ты, Алёша. Ну разумеется, здоров, вынослив — иначе какой же это солдат. Однако гирь и штанг не поднимал.



— А я уже догадался! — сказал Алёша. — Это был пластун. Прижмётся к земле — и ползком, ползком незаметно. А потом как вскочит — бах, бах, бах! — и закидает фашистов гранатами!

— Нет, — говорю, — не брался сержант за гранаты.

Саша:

— А что же у него было?

— Только руки, — говорю. — Но руки умелые. Трудолюбивые... А в бою не обойтись без умельца. Хотите расскажу, как он сам вышел из беды и полк свой выручил?

Ребята уже сидят рядышком. Приготовились слушать.

— А как его звали, сержанта?

— Русаков, — говорю, — Николай Николаевич Русаков. Итак...

\* \* \*

Когда началась война, Русаков был красноармейцем. Однако свой почётный долг перед Родиной выполнил, срок отслужил. Теперь только бы домой, в Ленинград. Мечтал о родном заводе.

Но — началась война...

В первых же боях с немецкими фашистами Русаков отличился. Стал сержантом.

Понадобился в полку радист — Русаков стал радистом: руки-то у него умелые, да и голова на плечах!

Бережёт Русаков свою рацию. Обзавёлся мягкой тряпочкой — чтоб ни пылинки на аппарате. Когда рацию включает, садится в землянке так, чтобы заслонить собою аппарат. В землянке тесно, ходят, толкают Русакова в спину, но ему хоть бы что: был бы аппарат в безопасности.

А когда полк получает приказ: «Вперёд!» — Русаков погружает аппарат в пароконную тележку, да так бережно, как мать кладёт дитя в люльку.

Бережёт Русаков свою рацию. Зато и действует она безотказно.

Но берёг, да не уберёг!

Стряслась беда...

Но надо рассказать по порядку.

Однажды командир полка разрешил бойцам отдохнуть. Увидел Русаков стог сена.

Обрадовался.

— Ишь как нам повезло! Там и заночуем, — сказал он своим товарищам.

Придвинули к стогу тележку с рацией. Дали волю лошадям, чтобы покормились свежим сеном. А сами в стог — как в тёплую нору.

Проснулись от грохота. Мигом выскочили из-под стога. Что случилось? Ночь, темно, ничего не понять...

Но тут ударило в нос едкой гарью.

— Да это авиабомба разорвалась! — сказал Русаков. — Как только в стог не угодила!

Прислушались: так и есть, в ночном небе — шум удаляющегося фашистского самолёта.

Тронулись в путь.

Пофыркивают лошади, дружно тянут тележку.

В тележке трое: Русаков, его помощник, тоже радист (дежурить-то приходится круглые сутки, вот и сменяют друг друга у аппарата), третий солдат на облучке — правит лошадьми. И ещё рация в тележке. На ночь укрыта брезентом: это её одеяло.

— Однако пора уже рации проснуться!

Откинул Русаков в сторону брезент, нащупал в темноте телеграфный ключ. Выстукивает:

«С добрым утром, товарищи! Приступаю к работе...»

И вдруг — что такое: впустую стучит ключом... Рация не действует.

Страшно подумать: вот-вот завяжется бой, а полк без радиосвязи!

Русаков тормошит помощника:

— Пробуй ты. У меня что-то руки дрожат...

Тот — за ключ. Но рация по-прежнему молчит.

— Да что же с тобой случилось, молчальница?!

Наконец понял Русаков: от авиабомбы это. Тряхнуло рацию взрывом.

— Чинить, скорее чинить!

Вспыхах чуть не включил ручной фонарик. Как раз на вспышку света посыпались бы бомбы. Вот они, опять гудят в небе фашистские самолёты!

Русаков накрылся с головой брезентом.

Втащил туда же, под брезент, помощника.

— Держи! — сунул ему фонарик. — Посвети!



А сам осторожно открыл рацию.

Перед глазами — пучки и переплетения тонких проволок. А повреждения не видать.

Снаружи голос:

— Радист!

— Кто там ещё? Не мешайте!

Выглянул из-под брезента, видит — конный из штаба. С пакетом.

— Велено передать по радио. Срочно! — Завернул лошадь и ускакал.

Раскрыл Русаков пакет, а в нём приказ батальонам и ротам.

Полк вступает в бой.

И понял в эту грозную минуту радист: за успех полка в бою и за жизнь товарищей — он, только он в ответе!

Но как же чинить рацию, если не видать повреждения?

И Русаков решил довериться своим рукам. Шепчет: «Ведь вам привычно, в аппарате чистоту наводили, значит, не заблудитесь. Так выручайте же, выручайте!»

И побежали пальцы по проводничкам — будто канатоходцы по своим канатам. С проволочки на проволочку, с проволочки на проволочку — всё стремительнее, всё быстрее...

Вдруг стоп!

Провалился палец.

— Пфффу... — с облегчением вздохнул Русаков. — Вот он, обрыв!

И — за шипчики.

Подцепил и выводит наружу обломившийся кончик проводника.

А сам уже смеётся, шутит:

— Шалишь, приятель, будешь работать!

И вот уже ключ пружинит под рукой.

Ожила рация.

«Я Сокол, я Сокол... — выстукивает Русаков. — Передаю боевой приказ командира полка...»

\* \* \*

На этом я закончил рассказ.

Молчат мальчики. Лица сосредоточенные, лбы нахмуренные... Задумались.

— А страшно было там, — заговорил Саша. — Чинит он, чинит, а бой идёт... а связь не получается... Так и побить нас могли! Сколько же полк воевал без рации?

— Знаю, — говорю, — Саша, одно: всё произошло быстрее, чем я успел рассказать. Батальоны и роты приказ получили вовремя.

Только командир полка и заметил, что радиосигналы побежали в эфир несколько позже, чем следовало.

Заметил потому, что, надев наушники, глядел на часы. Да и подумал мельком: «Спешат, как видно, мои. Или у радиста чуть отстали. Надо будет нам сверить часы для точности».

После боя стало известно, что случилось с рацией и как она была починена.

Командир полка вызвал сержанта Русакова и долго в изумлении глядел на него.

«Это невероятно... — заговорил он наконец. — Ночью, в тряской тележке... скрючившись под брезентом... Сложнейшее устройство — и вы наугад... Да какие же у вас умные пальцы, сержант! Золотые руки!»

Командир полка привлёк к себе Русакова, и они обнялись.

А вскоре на груди радиста красовался орден Красной Звезды.

Мальчики повеселели.

— Вот это да!.. Ну и здорово!.. Ему и оружия не надо... Ну да, оружие только бы мешало!

Потом Алёша сказал:

— Вот бы поглядеть на эти руки...

И Саша вслед за ним:

— Вот бы...

Я взял отложенную газету.

— Кажется, — говорю, — вам повезло, мальчики... До сих пор я не знал, жив ли сержант Русаков, чем для него кончилась война... Но вот...

Я развернул газету:

«...Последние известия. Москва, Кремль. Состоялась сессия Верховного Совета СССР. Приняты важные государственные законы, и депутаты разъехались по своим родным городам и сёлам.

Возвратились с сессии и ленинградцы. Среди них...»

— Слушайте, ребята, читаю: «Депутат Верховного Совета Герой Социалистического Труда Николай Николаевич Русаков».

Алёша:

— Депутат — это значит государством управляет? Ведь у Верховного Совета, ты говорил, вся власть в стране?

— Запомнил? Молодец... А ты, Саша, вижу, чем-то недоволен? Почему отвернулся?

Мальчик со вздохом:

— А тогда и ходить к Русакову нечего. Вон он какой важный стал.

Алёша рассмеялся:

— Эх ты, даже Конституции не знаешь. А ещё второй-классник!

— А ты, — говорю, — Алёша, не потешайся над товарищем. Знаешь, так объясни.

— Конечно, знаю. Депутат у нас — избранник народа. Поэтому к нему может каждый-каждый прийти и он о каждом позаботится. Вот как!

Тут Алёша — вот вьюн! — под мышку мне — и к газете. Уткнулся в напечатанное и дочитал раньше меня:

— «...депутат Русаков, рабочий завода «Электросила». Таким же винтом обратно:

— Русаков — рабочий! С «Электросилы». Ударник коммунистического труда!.. Понял?

Кончилось тем, что оба запросились на завод.

— Деда, это можно? Пожалуйста!

## ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ

Дверь. За дверью — аквариум.

А какие рыбки нарядные!

— Смотрите, смотрите, у этой хвост как из кружева! А сама с брюшка розовая, а со спинки — красно-золотистая...

Чёрные рыбки, жёлтые, зеленоватые или совсем прозрачные так и шныряют весёлыми стайками.

Забавляясь ребята аквариумом, словно забыли, где мы находимся.

— Ну, теперь на завод пойдём, — сказал Алёша. — Ты же обещал.

— А мы, — говорю, — уже пришли. Ведь только что вам вывеску показывал над воротами: «Электросила». Мы на заводе.

— На заво-оде?.. — протянул Саша, делая большие глаза. — Но ведь на заводах дымно и...

— И грязно, хотел ты сказать?.. Но это было когда-то. А сейчас — посмотри хотя бы на пол здесь, в цехе.

Саша глянул вниз перед собой и покраснел: на чистом полу стоит мальчик в грязных башмаках; поленился дома взять сапожную щётку и почистить.

Теперь он старается спрятать ногу за ногу.

Я делаю вид, что не замечаю, как ему стыдно. Он и сам не рад своей оплошности.

Беру мальчиков за руки.

— Теперь, — говорю, — идёмте к Русакову.

\* \* \*

Мы шагаем по цеху.

Слышится мерное постукивание, шелест, гудение... Звуки всё отчётливее: мы приближаемся к станкам.

Мальчики рвутся вперёд, но я придерживаю их за руки.

— Осмотритесь, — говорю. — Вы же в первый раз на заводе. А то бегом, бегом — ничего и не запомните.

Остановились.

Объясняю ребятам, какие перед нами станки. Вот этот, длинный и низкий, — токарный; этот — у него будто воротца над корпусом — строгальный. Тот — в виде башенки — фрезерный. А подальше — сверловочный...

— А они красивые... — говорит Алёша, склонив голову набок и прищуриваясь на корпуса станков. — Немножко зеленоватые, немножко голубоватые, немножко желтоватые...

Подсказываю:

— Это салатный цвет.

И объясняю, что красить так станки посоветовали учёные. Рабочим понравилось. В самом деле: цвет ласковый, приятно смотреть, не утомляются глаза. А глаза не устают — и работа спорится.

У станков рабочие. Каждый делает своё дело.

Алёша потянул меня за руку. Шепчет:

— Который из них Русаков?

Я вглядываюсь в лица рабочих. Стараюсь узнать Николая Николаевича.

Вспоминаю, как во время войны я услышал о подвиге радиста. А потом и самого увидел.

Было это на каком-то — уже не помню — совещании, где лучшие люди армии делились боевым опытом... Узнай-ка человека после короткой и единственной встречи! Да ещё через четверть века...

Я за это время состарился, но ведь и он не остался молодым.

— Ну который же? — настаивает Алёша. — Покажи!

А я могу только плечами пожать.

— Тогда я сам! — срывается он с места. — Который высокий и у которого волосы, как у меня... Можно?

— Только не беги, спокойнее.

— И я! — попросился Саша.

Алёша подошёл к станкам с левого края. Саша — с правого.

Стою. Жду, что принесёт ребячья разведка.

Первым обратно примчался Саша.

Вприпрыжку!

— А там, — кричит, — кнопки! На станках кнопки! Нажмут и — джик! — режет железо. Нажмут — и стоп станок! Кнопки, кнопки, кнопки, кнопки!

Едва успокоил его.

— Ну, отдышался? — говорю. — Теперь слушай. Всякая вещь хороша на своём месте. В далёкую старину, ты знаешь, заводами в России владели капиталисты.

— Это было, — вставил Саша, — до Октябрьской революции.

— Совершенно верно. Станки в ту пору были грубые, неуклюжие и опасные для работы. Чтобы привести такой станок в действие, рабочий наваливался на рычаг. А рычаг — как лом или как оглобля. Навалится, толкает что есть силы... Ух!.. Наконец-то загремет, забрякал станок.

Надрывались рабочие у станков, делались калеками.

А капиталист их и за людей не считал.

«Изувечился? Сам виноват, иди прочь с завода!»

И ставил к станку другого.

Капиталисту и станка было не жалко: пусть себе гремит, пока не развалится. Так-то выгоднее, чем покупать новый!

Я беру Сашу за плечи и поворачиваю к станкам.

— А погляди, — говорю, — на наши. Удобные, красивые. И у рабочего под руками, конечно, кнопки. Но эти кнопки не заменяют человека, а помогают ему в труде.

Так мы беседовали с Сашей, пока не прибежал из разведки Алёша.

Радостный и взволнованный, он объявил:

— Узнал про Русакова! Он не здесь, а вон там работает, где домашние растения.

## **А ВЫ НЕ БОДАЕТЕСЬ?**

Подходим.

У окна красивые пальмы.

А где же станок?

Мальчики растерянно смотрят на меня. Они ожидали, что увидят среди пальм самый главный, удивительный станок. Ведь работает здесь член правительства, Герой Социалистического Труда!.. А тут и вовсе никаких станков!

Стоит стол. Самый обыкновенный, даже некрашенный.

Да и на столе ничего интересного: молоток, напильники, железки...

Высокий человек, стоявший перед столом, обернулся...

Он! Теперь я узнал Русакова.

Николай Николаевич кивнул приветливо ребятам, а на меня посмотрел выжидающе: мол, что за люди, зачем пришли?

Алёша и Саша на приветствие тоже кивнули, но тут же, огорчённые, отвернулись к окну.

Я шепнул: «Не страдайте, ребята, наберитесь терпения», а сам к Русакову.

Напомнил про войну, сказал, что знал его ещё радистом, и мы крепко, по-солдатски пожали друг другу руки.

— А это кто? — Он показал на мальчиков. — Буками на меня глядят... Они не бодаются?

Страдальцы мои прыснули со смеху.

— Хотим, — говорю, — Николай Николаевич, познакомиться с вашим мастерством.

— А, экскурсия! — Он взглянул на часы. — Занят, конечно... Но юным экскурсантам отказать не могу.

Русаков отложил инструмент, которым работал, и стал вытирать руки ветошью.

Дал по лоскутку ветоши ребятам. Те тоже вытерли руки и спрятали свои ветошки на память.

Николай Николаевич, видя это, улыбнулся.

— Ну как, — спрашивает, — теперь готовы разговаривать?

— Готовы!

— В таком случае скажите, что вы знаете о Волховстрое. Слыхали про такой?

Алёша быстро взглянул на меня. Я кивнул, подбодряя его.

— Знаем, — ответил он твёрдо. — Дедушка рассказывал. Это недалеко от Ленинграда. На реке Волхов. Большая-большая электростанция. Самая первая советская.

Саша добавил:

— Там водопад устроили, чтобы крутились турбины. Это такие большие колёса.

— Всё это правильно, — согласился Русаков. — Но главного не сказали. Чьими же заботами был создан Волховстрой?

— Ленин... Это Ленина забота!

— Правильно, — опять сказал Русаков. — Но для Волховстроя кроме турбин требовались электрические машины. Иначе не получишь тока. Их изготовил наш завод «Электросила».

Русаков продолжал:

— Никогда ещё в России не делали таких больших и сложных машин. А Владимир Ильич: «Не робейте, товарищи. Зимний штурмовали? Капиталистов изгнали?.. Уверен, что сумеете и невиданные электрические машины построить!»

И построили. Без капиталистов. Своим умом. На удивление всему миру.

Николай Николаевич улыбнулся мальчикам:

— Вот на каком вы заводе... Знаменитый завод. Теперь

из разных стран приезжают, чтобы купить электрические генераторы с маркой: «СССР. «Электросила». — И добавил: — А станки какие у нас, а оборудование... Это же чудо техники!

Мальчики переглянулись и опять устали на некрашеный стол.

— А почему вас обижают? — сказал Саша. — Даже станка вам не дали. Там везде кнопки, а у вас...

Русаков, смеясь, перебил:

— И у меня кнопки! — Он был в комбинезоне и показал на свои большие карманы: — Смотри, вот тут вместо пуговицы кнопка и тут кнопка. — Посмеялся и сказал: — Но шутки в сторону. — Он стал серьёзным. — Запомните, ребята. Без этого простого стола — он называется верстак, — без молотка, зубила, напильников и без этих вот рук слесаря-инструментальщика не сделать ни одной на свете машины. Ни электрической, ни паровой, ни автомобиля, ни велосипеда, ни мясорубки, ни детского волчка...

Саша вынул авторучку. Кажется, хотел что-то возразить.

А Русаков:

— Школьная авторучка? И она рождается на таком же простом столе-верстаке. Как и пёрышко к ней.

Тут Русаков кивнул мне:

— Давайте-ка, дедушка, внучат поближе к верстаку.

Я поставил обоих на подвернувшийся под ногу ящик, а Русаков разрешил им облокотиться о верстак.

— Видно теперь, ребята? Ну, смотрите внимательно. Вот это моё главное устройство. — И он провёл руками по двум железным горбикам.

— Это тиски, — сказал Алёша. — В школе тоже есть. Только нас к ним ещё не подпускают. Они для старшеклассников.

Русаков продолжал:

— Смотрите дальше. Выбираю нужную мне стальную плашку и зажимаю в тиски... Вот так — накрепко, чтобы не шелохнулась плашка. Теперь можно работать. — И он провёл по плашке напильником. — Начинаю, ребята, готовить штамп. — Русаков поднял глаза на меня: — Как бы это объяснить ребятишкам — «штамп»?

Я пришёл Николаю Николаевичу на выручку.

Напомнил мальчикам, как они малышами возились в ящи-



ке-песочнице. Под руками формочки — деревянные, пластмассовые. Набьёшь формочку сырым песком, опрокинешь на скамейку — получается кулич.

Опять набиваешь формочку. Опрокинешь — второй кулич.

И пошёл ставить кулич за куличом!.. Сколько их? И не пересчитать.

Но все куличи одинаковые, если из одной формочки...

— Уже понятно! — прервали меня мальчики. — Штамп — это как формочка. — И к Николаю Николаевичу: — А чем вы свою формочку набиваете? Не песком же?

— Какие догадливые! — шуткой на шутку ответил Русаков. — Нет, не песком. На штамп кладут кусок раскалённого, насквозь красного и оттого мягкого металла. Но рукой его не вдавишь в углубление. Нужен пресс. Раз-два, надавил — и получается деталь, как ваш кулич из формочки. А после этого только кнопку нажимаю: «тук-тук-тук-тук...» — выдаёт пресс деталь за деталью.

Ребята узнали от Русакова, что инструментальщик готовит много различных штампов. Ведь детали требуются и большие, и маленькие, и такого фасона, и этакого.

Из этих-то деталей и собирают на заводе гигантские электрические машины.

## У ВЕРСТАКА

Мальчики раскраснелись. Глаза блестят. И я понимаю их радость: беседует с ними знаменитый инструментальщик, и не о пустяках болтает, как иные взрослые с детьми. Николай Николаевич знакомит их со своим мастерством.

Сейчас всё внимание ребят — на тиски, в которых закреплена плашка.

Плашка ещё не штамп, пока лишь гладкий кусок стали.

Но Русаков у верстака. Он водит напильником по металлу, с силой нажимая на него. «Шарп... шарп!..» В то же время зорко поглядывает на чертёж, чтобы не ошибиться, не сделать неверного движения.

Тёмные его волосы, расчёсанные на косой пробор, растепаются, попадали на лоб. На лбу проступили капельки пота...



А мальчики, как замороженные, смотрят на его руки. Происходит удивительное. Руки начинают серебриться... Всё больше, больше — кажется, вот-вот станут совсем серебряными.

Но Русаков останавливается, чтобы передохнуть. Напильник отложен — руки вытирает ветошкой. И они уже не серебряные...

Это всего лишь металлическая пыль, которую сдирал с плашки напильник.

Кинул Русаков ветошку, достал носовой платок и принялся вытирать разгорячённое лицо и шею.

Мальчикам стало его жалко.

— Николай Николаевич! — сказал Алёша. — Зачем же это... Сталь пилить руками! Вон как вам трудно!

— Трудновато, — согласился Русаков.

— А вы станок себе попросите! — посоветовал Саша. — Вам какой хотите дадут. Самый лучший!

К удивлению мальчиков, Русаков объявил:

— А одного мне мало. Хочу, чтобы служили мне и токарный, и фрезерный, и строгальный, и сверловочный!

— Так много? — вырвалось у Саши.

— А я жадный! — Русаков рассмеялся и сказал уже серьёзно: — Вон у нас в цехе станки. Посмотрите. Всё это мои помощники.

Мальчики кивнули. Станки салатного цвета; там они уже побывали. Но оставалось непонятным, как это столько станков помогают одному человеку.

Русаков стал объяснять.

— Вот тут, — говорит, — на плашке, согласно чертежу, должна быть канавка. И довольно глубокая. Вручную мне её и за полдня не пропилить. Но есть строгальный станок...

С этими словами Николай Николаевич развинтил тиски. Плашку передал на станок — и через несколько минут канавка была готова.

Ребята потянулись к плашке.

— А можно руками попробовать?

— Попробуйте.

— Какая ровная канавка... И тёпленькая!

Русаков отправил плашку в новое путешествие: на фрезерный станок.

Теперь появился на плашке как бы маленький колодец с крохотным отверстием.

— Заметьте, — сказал Николай Николаевич, — отверстие круглое. Так делает станок. А по чертежу надо квадратное. Значит?..

Он подмигнул ребятам и пошёл к умывальнику.

Долго и старательно мыл руки.

— ...значит, — закончил он, — от ручной работы не уйти. Да ещё посмотрите, какой мелкой.

И тут началось самое интересное.

Русаков разложил инструмент. Кроме напильников мальчики увидели лопаточки, шильца, совочки... Будто блестящий веер засиял на верстаке.

Из этого веера Николай Николаевич стал брать то одно, то другое.

Но даже не взглянет перед собой. Каждый инструмент словно сам прыгает в протянутую руку. Только и поднимет глаза, чтобы свериться с чертежом.

От всего этого работа у Николая Николаевича пошла быстро.

Иные инструменты совсем крохотные — из-за пальцев рабочего и не разглядеть, что они там делают... Временами Николай Николаевич, нацеливаясь инструментом в отверстие колодца, придерживает дыхание.

Замирают и мальчики. Они уже знают: чуть царапнешь, вводя инструмент в глубину, и квадрат может быть испорчен...

— Дед у вас какой бритвой бреется? — неожиданно спросил Николай Николаевич, не прерывая работы.

Алёша взглянул на меня. Я улыбнулся: мол, отвечай.

— А он не признаёт электрической. У него бритва, как сабля.

— А как он точит свою саблю? Ты видел?

— Ага. На брусочке. И поливает маслом. Чтобы ни-ни... никакой зазубринки. Даже невидимой.

Николай Николаевич кивнул.

— Вот и я, — сказал он, — должен закончить маленький колодец без зазубрин внутри. У дедушки масло, а у меня медный купорос. — Он наклонил бутылочку и пустил в отверстие колодца несколько зелёных капель. — Теперь, — продолжал он, — беру вот этот напильничек, называется «бархатный»...

А напильничек-то, глядят ребята, чуть потолще иголки. Насечку на нём и не рассмотришь — глаза слезятся.

Мальчики следят за руками инструментальщика. Ждут...

Однако бархатный напильник не успел опуститься в колодец.

Русакова окликнули.

По цеху быстро шёл человек в пиджаке и галстук. В руках у него был свёрнутый в трубку чертёж. На ходу кивком головы он здоровался с рабочими.

Не дойдя до верстака, круто остановился и подозвал Русакова.

Между ними завязался разговор. Но и к нам долетали беспокойные слова.

— В Индию ещё не отправили? — с удивлением сказал Русаков. — Вот так раз!

Вошедший загорячился:

— Да готова машина, совершенно готова! Но на испытании застопорилась. Пришлось забраковать одну из деталей. Совсем по-новому надо её сделать, вот, смотрите! — И он развернул перед Русаковым чертёж.

Николай Николаевич заинтересовался чертежом, принялся его разглядывать.

Потом вздохнул и показал в сторону верстака:

— Но у меня ещё своя работа не закончена...

— Отложите! — перебил вошедший. — Сейчас самое главное для нас — отправить машину в Индию!

Русаков пожал плечами:

— Отложить, товарищ директор, недолго. Но ведь есть у нас инструментальщики и посвободнее меня. А я терпеть не могу оставлять работу незаконченной.

Директор завода перебил:

— И слышать не хочу! Никто, кроме вас. Штамп надо сделать за десять дней. Часа не могу прибавить!

Русаков даже попятился, изумлённый:

— Что вы... Такая сложная деталь! Нет, это невозможно.

— Не верю, — настаивал директор, — не верю. Для вас, Николай Николаевич, нет невозможного. Руки у вас золотые!

Тут я снял своих мальчиков с ящика. Шепнул им: «Николаю Николаевичу теперь не до нас...»

И мы ушли с завода.

## НАШИ ТРЕВОГИ

Вот мы и дома.

Прошёл день — мальчики возвратились из школы.

И сразу ко мне:

— А что дядя Русаков? Так и не закончил нашу плашку?

А Индия — это важно?

Я порылся у себя в записной книжке.

— Вечером, — говорю, — узнаем, как у него дела. Вот его телефон.

Застал Русакова дома.

Он отдыхал после работы, но всё же охотно взял трубку и на все мои вопросы ответил.

Про плашку сказал так: «После вас, в тот же вечер, доделал её и сдал куда следует. Спасибо, — говорит, — Алёше и Саше, трудолюбивые ребята, всем интересуются. В их, — говорит, — компании мне и работалось веселее».

— А ещё что сказал Русаков? Отбился он от директора? За десять дней чтоб... Вот смешной! Мы бы отбились.

— Нет, — говорю, — не отбился. Николай Николаевич думает иначе, чем вы. Чертёж детали он взял домой. Теперь сидит над ним и раздумывает, как бы невозможное сделать возможным.

Ещё день прошёл.

Наступил вечер. Саша и Алёша опять тянут меня к телефону.

Не хотелось мне беспокоить уставшего человека, да разве от мальчишек отвяжешься? Позвонил, узнал, что делается на заводе.

Объявляю ребятам:

— На десять дней Русаков не согласился.

— Ага, — говорят ребята, — там не десять, а, наверно, двадцать дней надо!

— Да, — снова говорю я, — на десять дней не согласился. Изучил чертёж и обнаружил, что штамп можно сделать быстрее: не за десять, а за девять дней с половиной.

Саша от удивления только рот разинул. Впрочем, и Алёша не сумел произнести ни слова.

Я продолжал:

— Суть в том, что Николай Николаевич бывал в Индии

как депутат Верховного Совета. Ведь наше Советское правительство крепит дружбу со всеми народами.

Теперь послушайте, что его там глубоко опечалило...

В Индии плодородная земля. Щедрое солнце, яркое голубое небо. Но редко выпадает дождь. Из-за этого чуть не каждый год у крестьян гибнут посевы.

Одно спасение: надо поднять воду в реках и пустить её ручейками на поля. А это под силу только крупным машинам...

— Значит, нужны электростанции! — подхватил мой рассказ Алёша. — И они обратились к нам, на завод «Электросила». Потому что в Индии знают, что мы им поможем... Всё ясно!

Вставил слово и Саша. Но у него свои мысли.

— А как, скажите пожалуйста, Русаков убавил полдня? Даже непонятно. Спросить бы его по телефону.

— А разве я не сказал? Эх... — посетовал я на стариковскую забывчивость. — Николай Николаевич, — говорю, — пошёл на очень смелый шаг. Готовя штамп, инструментальщик — сами видели — то и дело заглядывает в чертёж. Кажется бы, пустяковая задержка в работе: минута-другая — есть о чём говорить! Но штамп для детали в эту машину особенно сложен, и, как подсчитал Русаков, на этих минутках за десять дней он потеряет полдня!

А как быть?

Заучить чертёж — много не придумаешь. И слесарь-инструментальщик Русаков усилием воли заставил себя это сделать. Был чертёж на листе бумаги: сложный — из густой сетки линий, со множеством цифр. Теперь чертёж как бы отпечатался в памяти Николая Николаевича.

Вечером Русаков просидел над чертежом.

А утром, придя на завод, объявил: «Десять дней мне не надо. Вырежу штамп за девять с половиной».

## ОН ЗАПЕВАЕТ ПЕСНЮ

Это было утро вторника.

Потом наступил день. Алёша пришёл из школы — и сразу к календарю, который у нас на стене.

Постоял перед календарём, потоптался. Протягивает руку к листку:

— Уже можно сорвать?

— Что, — говорю, — за спешка? Вечером сорвёшь, как всегда.

А сам догадываюсь, что у мальчишки на уме. Хочется ему поскорее начать счёт заводским дням.

Вечером пришёл Саша, и друзья, сорвав листок, припрятали его со словами:

— Первый день работы у Русакова кончился. Полежай, вторник, в коробку!

Но мальчикам не терпелось заглянуть в календарь и дальше.

— Среда... четверг... пятница — это уже четыре дня. Суббота и воскресенье — выходные. Дальше — понедельник, опять вторник, среда...

Наконец отметили красным крестиком листок, на котором кончатся девять дней с половиной.

— Деда, мы его поздравим, правда? А подарки за это делают?

— Лучший, — отвечаю, — подарок для Николая Николаевича — это не мешать ему работать. И не беспокоить его, когда отдыхает... Согласны?

— Согласны, — сказали мальчики и потащили меня к телефону. Принялись уговаривать: — Ну только ещё разочек... Ну пожалуйста... И больше не будем звонить.

— Уговор?

— Уговор!

Оставалось взять трубку.

Но то, что я услышал от Русакова, поразило меня.

«Что? Что?.. Ещё на день убавили? Да мыслимо ли это? Ах, это уже станочники, их заслуга?..»

Николай Николаевич стал мне объяснять, что станочники, посоветовавшись с инженерами, прибавили скорости станкам, кроме того... Но я уже не расслышал. Помешали мальчики.

Услышав про восемь с половиной, запрыгали, затопали. Словно ошалели от радости.

Так и не дали договорить по телефону.

А Николай Николаевич: «Извините, некогда... Спешу!» — «Куда же? — удивился я. — Сразу после работы,



без отдыха, да ещё глядя на ночь?» А он, смеясь: «Песни петь!»

На этом телефонный разговор прервался.

Пришла и кончилась среда.

Мальчики сорвали ещё листок календаря.

Потом долго вертели у телефонного аппарата. Но я сделал вид, что не замечаю их нетерпения.

Кончилось тем, что приятели посетовали на свою горькую ребячью жизнь, повздыхали — и отправились спать.

Наступил четверг.

Вечером Алёша и Саша сорвали листок календаря — третий по счёту.

Нетерпение ребят нарастало. Да я и сам рад был бы узнать, что там, у Русакова: геройское ведь дело начал! Но уговор: не беспокоить человека.

Так тому и быть.

Наступила пятница.

Вечером мальчики, уныло волоча ноги, подошли к календарю.

Дивился я на них: ведь согласились со мной, что нехорошо надоедать Николаю Николаевичу телефонными звонками, а теперь, глядите, на меня же и сердятся... Да ладно, не обижаться же деду на внучат!

Протянули мальчики руки, чтобы сорвать четвёртый по счёту листок календаря, — но тут зазвонил телефон.

Я взял трубку.

Не сразу узнал я Русакова. Он пропел: «Штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни...»

Только после этого поздоровался.

«Хорошая, — говорю, — песня. Вижу, что вы в добром здравии, Николай Николаевич!»

А он опять поёт. Пропел мне из песни последний куплет: «И на Тихом океане свой закончили поход...»

Помолчал, словно ожидая, не скажу ли я ещё чего-нибудь. И опять пропел эти слова, да настойчиво так: «...свой закончили походу!»

«Закончили»?.. И у меня мелькнула мысль: «Да ведь это он о себе...»

«Николай Николаевич! — закричал я в трубку. — Верить ли? Это выше моего понимания. Прошло всего четыре дня». — «И штамп готов, — сказал Николай Николаевич. — Мало то-

го, новая деталь уже поставлена на место. Да и машину уже упаковывают. Скоро отправят в Индию».

Ошеломил он меня. Не знаю, что и сказать.

«Наверно, — говорю, — здорово устали?» — «А об этом, — отвечает, — даже и не думается... Все четыре дня не отходил от верстака, да и ночей прихватил. Эх, дружно поработали, с песнями! — Потом он сказал так: — А интересно получается! Был я радистом и понял в бою: неспроста ключом постукиваешь — ответ держишь и за успех полка, и за жизнь товарищей. Стал инструментальщиком — и опять, чувствую, я же в ответе! Только теперь уже не за полк и солдат своих — а за целую страну, народ которой хочет победить нищету и голод. И подумалось мне, — сказал Русаков, — а ведь я сам лично отвечаю и за мир на земле, и за счастье всех людей. — Он рассмеялся. — Вот, — говорит, — какими делами ворочу! А поглядеть на меня — кто я такой? Да простой рабочий!»

Я дружески поправил его.

«Извините, — говорю, — Николай Николаевич, но вы не простой рабочий. А советский. Вы — гражданин великой страны Ленина».

И в этом вся суть.

## **ЗНАМЯ ЛЕНИНГРАДА**

Утром 7 ноября мы сидим перед телевизором. На душе светло, празднично.

Мальчики прикололи к рубашкам свои октябрятские значки.

На экране — Дворцовая площадь.

Зимний в дымке осеннего тумана.

Полные зрителей трибуны.

Только что закончился парад. Площадь опустела и от этого кажется особенно длинной и широкой.

В ожидании демонстрации, которая всегда очень нарядна, сидим переговариваемся.

Крепко запомнилось мальчикам знакомство с Русаковым, и они хотят узнать о нём ещё и ещё.

Вот и сейчас Алёша деловито наморщил лоб и спросил:

— А как это всё-таки у него получилось, что золотые руки?

— Как у всех, — ответил я. — Сначала была школа, уроки труда...

— Ну хорошо, пусть уроки труда... — Алёша сказал это с таким выражением, словно пришлось проглотить горькую пилюлю. — А дальше как было?

— А дальше, — говорю, — Евдокия Климентьевна, его мама, привела сына к себе на завод. Она была работницей «Электросилы».

Алёша не отступался:

— А потом?

— На заводе, — говорю, — парнишка сказал, что хочет стать слесарем.

— А почему слесарем? А не фрезеровщиком, не токарем, не строгальщиком... почему?

Я сказал то, что знал от Николая Николаевича. Слесарем был его отец. Так что Коля Русаков, идя с матерью на завод, уже знал, чего хочет. Да и память отца, который рано умер, хотелось мальчику уважить...

Между тем Октябрьский праздник продолжался.

Зазвучал оркестр — и мы все трое опять повернулись к экрану телевизора.

На площадь вступали колонны рабочих.

Заколыхалось и развернулось на ветру Знамя Ленинграда. На бархатном с золотым шитьём полотнище красовались орден и звёздочка города-героя.

Наш город — ветеран гражданской войны, герой Великой Отечественной и в то же время — неутомимый труженик. Боевой его подвиг и трудовая доблесть отмечены высокими правительственными наградами.

Знаменем пришлось любоваться недолго: пронесли мимо.

Но вот оно вновь на экране.

Теперь знаменосец шёл как бы прямо на нас.

Красиво и торжественно.

Не берусь сказать, кто из нас первым узнал знаменосца: Алёша, Саша или я. Воскликнули в один голос:

— Да это же дядя Русаков! Николай Николаевич! Он,

он... Ему доверена честь возглавить колонны, прошагать со Знаменем Ленинграда!

И мальчики, повскакав, замахали перед экраном руками.

— Мы здесь! — кричали они. — Николай Николаевич, мы здесь, посмотрите! Вот Сашка, а вот я — Алёша! Видите, видите?

Русаков, конечно, не мог нас ни увидеть, ни услышать. Так уж устроен телевизор.

Но мальчики, увлѣкшись, забыли об этом.

— Увидел нас, увидел! — обрадовались они. — С праздником вас, Николай Николаевич!

Я не стал их разочаровывать.

«Пусть, — думал я, — техника ещё не совсем совершенна. Но разве это может помешать настоящей дружбе?»



*Валентин Берестов*

## **ВИРА — МАЙНА**

Говорят с подъёмным краном  
Вдалеке  
На каком-то иностранном  
Языке.

Он звучит необычайно:  
«Майна! Вира!  
Вира! Майна!».  
«Майна!» —  
Груз поехал вниз.  
«Вира!» —  
Он вверху повис.

Кран отлично понимает:  
Опускает,  
Поднимает.  
Всё, что скажет крановщик,  
Выполняет в тот же миг.



Виктор Астафьев  
**ПЕСНОПЕВИЦА**





**В** ту пору бакены ещё были деревянные и держались они на деревянном угольнике. Вершины пирамидок белыми и красными маковками фонарей светились, а в фонари эти вставлялись керосиновые лампы. Днём отец наливал в лампы керосин из большого ржавого бидона, а Галка держала воронку и вкручивала горелки с фитилём в горла ламп. Потом она спускалась на берег, вместе с отцом мыла руки, шоркая их песком, смешанным с галечником, и в маленьких ладошках хрустело, и руки делались белыми, но всё равно от них пахло керосином, и платишко её постоянно пахло керосином, и в избушке пахло керосином, и в лодке пахло керосином. С запахом этим Галка свыклась и не замечала его. Она свыклась и с жизнью в отдалённой избушке, без подружек, без детских игр. У неё была одна игра — в бакенщика. Но она не считала это игрой, она работала бакенщиком.

Ещё солнце только-только упирало в горы и нижнюю часть его подравнивало дальней седловиной, а Галка уж начинала хлопотать. Она по деревянным ступенькам бегала вверх-вниз по крутому яру и носила в лодку лампы, вёсла, ведёрко — выплёскивать воду, две старые телогрейки — отцу и себе. Строго насупив белёсые бровки, стояла она у лодки и, тыкая пальцем, пересчитывала лампы, соображала, не забыли ли чего, и,





подражая видом и голосом покойной матери, поворачивалась к избушке, кричала от реки:

— Ты долго иссо будешь там копаться?

Отец громко кашлял в ответ и, хлопая широкими голенищами бродней, как крыльями, неторопливо спускался к лодке. Здесь он крутил сигарку и начинал пугливо хлопать себя по карманам.

— Опять спички забыл?! — суровела Галка и доставала из кармана старой телогрейки коробок серников. — На! Со всем у тебя памяти не стало!

Отец прикуривал из лодочкой сложенных ладоней и, незаметно улыбаясь, косил глазом на озабоченную, хмуро насулпленную девочку с неумело заплетённой косой, мокреньким носом, в стоптанных сандалиях с белёсыми от воды передками. Он брал дочь на руки, усаживал на беседку и мимоходом, незаметно выдавив из её носа мокроту, набрасывал телогрейку на спину с остренько выступавшими лопатками.

— Поплыли благословясь, — роняла по-старушечьи Галка.

Отец наваливался на лодку, сильно гнал её по камешнику. Галку часто откидывало назад и роняло с беседки.

— Эко! Эко! — барахтаясь на дне лодки, выпрастывалась из телогрейки и ворчала Галка. — Сила есть — ума не надо!

Отец в мокрых броднях ступал в лодку, поднимал Галку на беседку и, шатаясь, шёл к корме, брал сначала кормовое весло, а затем шест и начинал поднимать лодку вверх по реке, до острова Заячьего, от ухвостья которого шла накоса в реку песчаная ягра — отмель, и отмель эту отмечал красный бакен.

И пока они хлопотали, собирались, поднимали лодку вверх по реке, вечер уж тихо опускался с гор. Он бесшумно выползал из глубоких распадков и перекрашивал весь мир, и речку, и горы в свой вечерний свет.

Вечер казался Галке дедом, тихим, бородатым и молчаливым, он курил трубку за горой, и оттого небо было там красное. Он шевелил бородой, почёсывался, и оттого колыхались тени скал в воде и шелестел осинник по горам. Деду было холодно в горах, и он с вершины сухой лиственницы голосом филина просил шубу. Дед кряхтел и ворочался в лесу, укладываясь спать, и выколачивал трубку о старый сухой пень так, будто чёрный большой дятел стучал по нему.

Дед долго засыпал и успокаивался. Гасла его трубка,



и остывало небо за горой. Дед дышал ноздрями распадков — и на реку наплзали лёгкие полосы тумана. Они качались над водой и оседали в тальниках Заячьего острова.

Дед закрывал наконец-то глаза, не ворочался больше, не кряхтел — и всё кругом переставало шевелиться, стучать, и даже листья не хлопали ладошками, чтобы не беспокоить деда, потому что он хотя и тихий дед, а всё же сумрачный, угрюмо-молчаливый, и что у него на уме — никто не знает.

Шест железным наконечником пощёлкивал о каменное дно, шумела носом лодка, толчками подаваясь встречь быстрой воде, и Галка опускала руки за борт, слышала, как щекочет её пальцы живая и тёплая перед ночью вода.

Кулички снимались с камней, обгоняли лодку, светясь белыми подкрылками, и стригли голосами привычную песню, которая веселила Галку: «тити-вити, тити-вити, тити-вити»...

С Заячьей протоки, обросшей у берегов водяною чумой и копытником, шумно взбив воду, поднимались утки, но не все, поднимались лишь селезни, а матери с утятами бежали по воде враспынную, прятались кто куда, а Галка хлопала ладонями, пугая утят и неизвестно почему радуясь, что они бегают в панике по воде, прячутся в листьях и крепко сидят там, думая, что их никто не видит. Утка с вызовом и бесстрашием то подплывала к лодке, то отлетала от неё, отвлекая таким образом опасность от детишек.

На ухвостье острова отец ненадолго останавливал лодку, и Галка выплёскивала воду, скребя по дну лодки сплюснутым ведёрком, а выплескав, начинала мурлыкать песню и видела, как утка собирала утят из-под листьев и плыла по воде чуть впереди, всё ещё встревоженно покрякивая. А утята строем за нею, и строй в сумерках казался единым, и только след белёсый расходился на стороны, пошевеливая копытник. Отец клал шест под ноги, брал весло, отталкивался от острова и начинал выгребать к верхнему бакену, держа нос лодки наповверх. Остров отдалялся, горы, уже слитые воедино, лес, в котором успокоился вечер-дед, — всё это оставалось за кормом. И простор реки, холодноватый и мирный, подхватывал Галку, нёс на мягких руках, покачивая и лаская.

Бывало-то, спашешь пашенку,  
Лошадок расплягё-ошь,  
А сам тло-опой знакомою  
В заветный сад пойдё-ошь... —



запевала тоненьким голоском Галка, и слышала одну себя, и радовалась тому, что есть она, Галка, на этом свете, что отец слушал её и даже веслом негромко хлопал, чтобы слышать её лучше. И Галка пела, пела, уж забывши и про отца, и про лодку, и про деда, который хоть и привычен, а всё же жутковат, и пока он не уснёт, петь и кашлять было страшновато, неловко как-то.

Никаких детских песен Галка не знала, она жила тем, что переняла у взрослых, и песни её сплошь грустные, протяжные и про любовь всё больше:

В золотом садочке канальейка пела,  
Пела так уныло, ой, голос лагдавался-а-а.  
Пела так уныло, голос лагдавался-а-а,  
Молодой палнишка, ой, с девушкой пло-ошался-а-а...

И как он прощался, и как ей, девушке-то, горько было, когда она спрашивала: «Куда, милый, едешь, куда едешь? На кого ты, милый, ой, меня покидаешь?..» Всё это Галка равно бы и чувствовала и понимала, а потому и на сердце у неё делалось по-разному — то его слезами подтачивало, то озноб, возникший под кожей, кололся хвоею в сердце, то вдруг тепло подкатывало к груди.

Отец хватался за бакен, вставлял в фонарь лампу, зажигал её и отпускал лодку. Её шатало, разворачивало течением, несло вниз по реке, и огонёк бакена, дружески моргая Галке, удалялся в темноту, и она пела ему, огоньку:

В низенькой светёлке огонёк голит,  
Молодая пляха у окна сидит...

Голосишко у Галки становился тише, тише, слова она уже склеивала, головёнка её сморенно падала на грудь и пятнышком светилась в тёмной телогрейке среди тёмной лодки. Отец осторожно продвигался к беседке, бросал в нос лодки свою телогрейку, брал на руки Галку, бережно опускал её на одежку, прикрывал сверху другой телогрейкой, и Галка, протяжно, с облегчением вздохнув, ложилась щекой на руку и сладко засыпала.

Отец, покачав головой и грустно улыбнувшись в темноте, садился за лопашни и, поскрипывая уключинами, плыл от бакена к бакену, засветлял их и сплывал по течению к избушке. Сложив вёсла, уронив натруженные руки на колени, он курил,

слушал ночь, себя, тосковал о жене, думал о дочке, которой надо бы мать, но мать её никогда уж не вернётся, а мачеха ещё какая и попадётся...

Лодка, чуть слышно коснувшись берега, останавливалась. Отец забредал в воду, брался за уключину и подтаскивал её повыше, затем бросал окурки в воду и выскребал Галку из носа лодки, укутывал её в телогрейку, на руках нёс вверх по деревянным ступенькам к избушке.

Иногда Галка просыпалась и невнятно спрашивала:

— Мы уже плыли?

— Приплыли, приплыли. Спи, песнопевца. — И отец прижимал её плотнее к себе, а она дышала ему в грудь маленьким, но добрым теплом, и хотелось ему сказать: «Родненькая ты моя, миленькая ты моя! Что был бы я без тебя?..»

Но он этого не умел сказать, а лишь останавливался на яру, скрипуче прокашливал горло, сдавленное сладким горем, прижимал к себе дочку, ровно бы боясь остаться в одиночестве среди тёмной ночи, над тёмной рекой, на которой редко подмигивали огни бакенов и где-то далеко ещё занималось шлёпанье плещ и пыхтенье буксирного парохода.

— Пароход идёт, — тихо говорил отец, слушая свой голос, — на твои огоньки, дочка, смотрит и не заблудится в потёмках...



Агния Барто

## МАЛЯР

Мы с дедом красили сарай,  
Мы встали с ним чуть свет.  
— Сначала стену вытирай, —  
Учил меня мой дед.

— Ты ототри её, очисти,  
Тогда смелей берись за кисть.

Так и летала кисть моя!  
Гремел на небе гром,  
А мне казалось — это я  
Гремлю своим ведром.

Ну, наконец сарай готов.  
Мой дедушка так рад!  
Эх, взять бы краски всех цветов  
И красить всё подряд!

Немного краски есть в ведре  
На донышке, чуть-чуть —  
Я завтра встану на заре,  
Покрашу что-нибудь!





Николай Внуков

# МЕДОГОН







**З**ябким, росистым утром дядя Алексей впрягал в колхозную телегу рыжую лошадь Журку. Лошадь недовольно поводила ушами, жевала сухую травину и смотрела на Костю грустным фиолетовым глазом. У неё были длинные светлые ресницы и яркий треугольник белой шерсти на лбу.

— Что, не хочется ехать? — спросил Костя и погладил её нежный замшевый подбородок.

Журка мотнула головой, фыркнула и переступила ногами.

Дядя Алексей надел ей на шею тяжёлый кожаный хомут, взял из телеги дугу, поднял с земли конец оглобли и сказал:

— Смотри, Костя, как запрягать лошадь. Учись.

Он обернул вокруг оглобли толстый ремённый гуж и вставил в петлю конец дуги с вырезом.

— Понял? А теперь с другой стороны...

— Скоро лошадей нигде в мире не останется, — сказал Костя. — Будут автомобили и вертолёты.

Дядя Алексей через плечо посмотрел на Костю и усмехнулся:

— Ишь ты, какой быстрый.

— Автомобили лучше, сильнее, — сказал Костя.

— Лучше-то, оно, может, и лучше... — Дядя Алексей упёрся ногой в клещи хомута и туго затянул супонь. — А ведь всё-таки машина — она не живая. Не может машина понимать и любить человека. Ласковой быть не может.

Он подправил седёлку, похлопал Журку по шее, разобрал вожжи и уселся на грядку телеги.

— Ну, Костик, поедem.

Костя по спицам большого колеса взобрался в телегу и устроился рядом с белыми железными бидонами, поставленными в сено, чтобы не бились друг о друга и не гремели.

Журка взяла с места неторопливой рысью. Дядя Алексей выправил телегу на полевую дорогу, опустил вожжи и закурил.

Покачивались, уходили назад избы деревни, конюшня и тёмные тополя, окружившие пруд.

Дорога лежала в серой влажной тени. Справа и слева плотно стояли высокие сине-зелёные хлеба. Иногда они при-двигались так близко к телеге, что задевали колёса и хлестали по тележным бортам. Костя протянул руку и сорвал длинный усатый колос. Зерна в нём были молочные и мягкие, они ещё не до конца налились сладкими соками земли.

— Хорошо сидишь? — спросил дядя Алексей.

— Хорошо, — отозвался Костя.

Ещё никогда в жизни он не ездил вот так, в простой крестьянской телеге по утренней полевой дороге. Он знал светлые, почти больничной чистоты салоны самолётов, на которых они с матерью летали в Сочи и в Симферополь. Знал упругость подушек в легковых автомобилях. Но всё там было по-другому. В самолётах был чистый, прохладный воздух, а в автомобилях пахло разогретой резиной и папиросами. За окном самолёта медленно проходили горы облаков, тянулась бесконечная, быстро надоедавшая синева, и земля сверху казалась ярко раскрашенным макетом для какой-то большой игры. Из автомобиля тоже было видно немного. А здесь...

Солнце вышло из-за тёмного Синицкого леса и всё выше забирается на небо. Деревня уже пропала, опустилась за голубоватую стену хлебов. Впереди, в травяное море, клином врезалась рощица. Дорога обегает её широкой петлёй и тоже тонет в пшеничных волнах.

— Дядя Алексей, а что это мятным пахнет?

— Хлеб. Это хлеб поспевает. Ты разве не знаешь, как пахнет пшеница?

Журка легко бежит между оглоблями, так легко, будто нет ни телеги, ни гулких бидонов, ни Кости, ни дяди Алексея. Ремённая сбруя с медными гранёными шишечками — для красо-

ты — похлопывает по рыжим лошадиным бокам. Острый, чудесный запах летит в лицо от солнца, от широких полей, от потемневшей Журкиной шерсти. Такого запаха никогда не было в городе. Там, в тесных улицах, от размягчённого асфальта и автомобилей пахло керосином, на лестницах — кошками и пылью, а в кухнях и комнатах — едой. Эх, если бы можно было сегодня никуда не приезжать, а всё ехать и ехать без конца и смотреть то на небо, то на бегущую под телегой дорогу с двумя полосками травы, то на раздольные поля, которые вдали уже начали мерцать и струиться под солнцем!

— Дядь Алексей, долго ещё ехать?

— Теперь уже недалеко. Вот повернём за ту рощицу — и на месте.

«Та рощица» синим островом плыла над землёй. Потом придвинулась, выросла, высала вперёд молоденький сторожевой дубок, и вот телега загрохотала по самому её краю. Деревья начали перебрасывать друг другу гулкое эхо; повеяло сыростью, вялым листом, смолой; солнце то жарко вспыхивало, то гасло, зарываясь в густые вершины; в дорожных колеях узкими полосами стояла давняя, позеленелая вода, моховые пни то выглядывали, то прятались в серебристый от лишайников подлесок, и вдруг всё кончилось. Дорога опять вынеслась на простор, но теперь вместо жёлто-зелёной пшеницы лежали тёмно-зелёные с красным клевера.

— А вон и пасека, — показал дядя Алексей.

Но Костя уже и так увидел.

Разноцветный карликовый городок с плоскими крышами. Красные, жёлтые, голубые домики. А немного в стороне — дом побольше, некрашенный, фанерный, с чёрной толевой крышей и с маленьким — крестиком — окошком. И с железной трубой. Не дом, а просто будка. Но среди маленьких он выглядел большим, как школа в деревне.

Разноцветные домики-ульи стояли в три ряда. Две улицы между ними. И никого кругом. Сам по себе городок. А потом из будки вышел человек в белой рубахе распояской, в очках и в широкой соломенной шляпе. Он помахал рукой и так и остался стоять, поджидая.

Телега покатилась мягко, как по матрацу, наклонилась, выпрямилась и встала.

— Приехали!

Журка довольно фыркнула и потянулась к пушистым

малиновым шарикам клевера. И тут в тёплой плывущей тишине Костя услышал прозрачный дрожащий звон. Звенели головки клевера, звенел воздух, звенела тишина. Он оглянулся — никого.

— Дядь Алексей, что это? Что звенит?

— Пчёлы работают, — ответил дядя. Он спрыгнул на землю, подхватив за железные уши бидон, снял его с телеги.

Подошёл дедушка.

— Эге, — сказал он. — Приехали? Ну-ка слезай.

У дедушки были голубые глаза и тёмное от загара лицо.

— Слезай, слезай, внук.

— А пчёлы? — спросил Костя. — Они не укусят?

— А ты разве злой? — спросил дедушка.

— Не знаю. Наверное, нет.

— Ну, тогда не укусят. Они только злых кусают.

Костя засмеялся и слез с телеги. Дедушка повернул его за плечо к солнцу.

«И вовсе он не старый, — подумал Костя. — А когда к нам в город приезжал, только притворялся стариком. И кашлял нарочно. А сам молодой и на доктора похож».

— Пойдём ко мне в дом, — сказал дедушка и повёл Костю мимо ульев в фанерную будку.

Костя шёл и оглядывался: а вдруг какая-нибудь укусит? Но пчёлы, чёрными пульками окружившись над ним, отлетали в сторону.

Уютно в домике деда. Оконце завешено марлей. Кровать сделана из двух козелков, на которые положены доски. Железная печурка посередине. В углу на ящике ведро с водой, покрытое деревянным кругом, а на круге зелёная с белым эмалевым нутром кружка. На стене над кроватью настоящее ружьё.

— Зачем ружьё? — спросил Костя.

— Вдруг волк забежит на пасеку? — хитро прищурился дедушка.

— А здесь разве волки водятся?

— Бывают, — сказал дедушка.

— И ты видел?

— Пока ещё нет, — сказал дедушка.

Чего-чего только нет на скамейке и на полу! Целый день можно разглядывать. Сетки, решётчатые коробочки с выдвижными стенками, белые, гладко оструганные рамки с натянутыми поперёк проволочками, длинный нож, заточенный



с обеих сторон, как кинжал, и ещё какая-то закопчённая штука, похожая на кофейник с широким носиком.

— Дымарь, — объяснил дедушка. — Пчёл отгонять дымом, чтобы не мешали.

— Батя, когда думаете начинать? — крикнул снаружи дядя Алексей.

— А что ж, сейчас и начнём, — сказал дедушка. — Выкатывай, Алексей, медогонку. Она под навесом, за будкой.

...И вот медогонка — большой, светлый, оцинкованный бак, на верхнем крае которого ручка, как у швейной машинки, и две косые шестерёнки, — поставлена на чистую полянку над специальной ямой. И дед раскладывает на столе, ножками вкопанном в землю, ножи, ложки, ставит миску с водой, насыпает в дымарь опилки и разжигает их, приготавливает какие-то тряпочки, сеточки. Сейчас он ещё больше похож на доктора. Лицо у него серьёзное, очки строго поблёскивают. Костя спешит всё увидеть — и медогонку, и дымарь, который фукает, если нажать на него сзади; он даже успевает примерить на лицо тюлевую сетку, похожую на большой китайский фонарь. Дед не сердится, всё разрешает.

Наконец Костя решается пройти по улицам пчелиного городка. От каждого домика, от щели, у которой густо толпятся пчёлы, вниз, на землю, косо проложены дощечки-сходы. Пчёлы заняты непонятной работой, не обращают на человека никакого внимания. Они ползают вверх и вниз по сходам, вежливо уступают друг другу дорогу, иногда неожиданно срываются с места и, гудя, растворяются в голубом воздухе.

В дальнем конце городка поилка. На козлах лежит бочонок с неплотно всаженной деревянной пробкой. Из-под пробки каплями стекает на наклонную доску вода. Пчёлы налетают на влажную доску со всех сторон. Пьют.

Тем временем дед снял крышку с красного улья и вынул из него первую медовую рамку. Она тяжела, густо облеплена шевелящейся тёмно-жёлтой массой. Дед ставит рамку одним концом на край улья и мягким просынным веничком сметает пчёл. Они сваливаются в улей, нехотя взлетают, раздражённо гудят. Под веничком открываются соты. Сильно пахнет вошью и цветами.

Дед переносит рамку на стол, обмакивает в миску с водой нож и срезает с сотов крышечки, закрывающие ячейки. Каждая ячейка похожа на маленький шестигранный стакан-

чик, в котором сладко поблёскивает. Дед для чего-то нюхает соты, снова обмакивает нож в воду, вырезает из рамки большой жёлтый маслянистый кусок и сбрасывает его на блюдо.

— А ну-ка, Костя, отпробуй.

И Костя пробует...

Перед самым лицом вьются гудящие точки. В небе стоят мягкие пуховые облака. Какой необычный, сказочный день!

Дядя Алексей вставляет начатую рамку в медогонку, а дед уже обметает вторую.

И вот медогонка заряжена, и дядя Алексей берётся за ручку, и дед говорит «с богом» и улыбается, потому что сказаны эти слова просто так, для доброго начала.

Дядя Алексей крутит ручку, и медогонка, набирая скорость, начинает гудеть. Костя заглядывает внутрь. Там сильно и ровно вертится крестовина, в которой стоя закреплены рамки. Тяжёлая жёлтая роса выбрызгивается на светлые стенки бака. Капли сливаются, сползают вниз, и на дне уже стоит прозрачный хмельного запаха слой. Слой того, ради чего все хлопоты, полевая дорога, цветы клевера и весь этот чудесный, лёгкий, чуть облачный день.

Пчёлы садятся на край медогонки, заползают внутрь: некоторые, сбитые тяжёлыми каплями, падают в мёд и умирают в нём, слабо шевеля ножками. Костя пытается вытащить их длинной соломиной.

— Не надо, — говорит дед. — Они дóбре поработали. А теперь приняли хорошую смерть. Сладкую.

Костя доедает сотовик, долго обсасывает последний восковой катышек.

Солнце переходит полдень.

— Можно сливать, — говорит дедушка.

Вдвоём с дядей Алексеем они опускают один из привезённых бидонов в яму, над которой выдаётся край медогонки. Дедушка берётся за ручку крана и говорит Косте:

— А ну-ка, внук, неси из дому кружку.

Костя приносит и смотрит, как золотистая густая струя лентой укладывается в эмалевую глубину.

Все трое по очереди прикладываются к кружке.

— Хорош! — говорит дядя Алексей, крепко вытирая ладонью губы.





— Хорош! — повторяет Костя, зажмуривая глаза и качая головой.

Дед отпивает самую малость, долго держит мёд во рту, пережёвывает его, как хлеб.

— Откуда они гречишного натаскали, не пойму, — говорит он. — У нас здесь и гречи-то близко нету. Должно быть, от максимовских. Максимовские сеяли.

Потом откидывает заслонку крана, и толстая медленная струя, изгибаясь, падает в бидон.

...И опять гудит медогонка, и опять дед вынимает из ульев грузные рамки, и плывёт над землёй прозрачный звенящий синий день.

Костя устал.

Слишком много всего вокруг для одного маленького человека. Много солнца, много воздуха, чересчур широки клеверные поля.

Он уже не успевает смотреть. Жарко. И слегка кружится голова от выпитого мёда.

Костя идёт в прохладную будку, садится на жёсткую дедушкину постель и на минуту закрывает глаза.

Как хорошо, что мать отправила его в Пеньково, а не повезла с собой в Крым. В Крыму и на Кавказе всё будто не настоящее, как в парке культуры. Даже Чёрное море. И санатории точно выстроены из белых брусочков деревянного конструктора. Почему-то быстро становится скучно от такой красоты. И люди там похожи на гостей или на посетителей в музее. А здесь не чувствуешь себя приезжим. Здесь всё — твоё.

Костя придвигает к себе дедушкину подушку и на мгновение, на один коротенький миг прижимается к ней щекой. От подушки пахнет сеном и земляникой, и она такая мягкая! За стеной будки замирает гудение медогонки.

— Завтра я привезу ещё шесть, — слышится голос дяди Алексея.

Костя просыпается.

Дверь будки распахнута настежь. Солнце краем село на землю и стало большим и красным. И всё вокруг тоже покраснело — и облака, и трава.

— Я сейчас, — говорит Костя, протирает слипающиеся глаза и выходит наружу.

Рядом с телегой, в которую впряжена Журка, стоит дядя



Алексей. Он в куртке, застёгнутой на все пуговицы, на голове кепка, а в руках вожжи. Журка нетерпеливо переступает с ноги на ногу и отфыркивается.

Неужели конец? Неужели он всё проспал? А может быть, ещё не кончили, ещё надо что-нибудь делать?

— Всё, братец мой, всё, — говорит дедушка. — Четырнадцать ульев выкачали. Пчёлам тоже спать надо.

И вдруг Косте становится грустно. Почему те люди, которые будут есть этот мёд, не увидят ни красно-зелёных клеверных полей и пшеничных волн, ни рощи, похожей на остров, и не услышат, как поёт солнце, как журчит, переливаясь, голубой воздух, как разговаривают травы и радостно трубят пчёлы, возвращаясь домой?

...А может быть, всё-таки увидят, если очень-очень захотят?

Шесть бидонов в телеге. Сколько в них дней, таких, как сегодняшний? О, не сосчитать!

— Ну, Костя, до завтра. Помогай деду. Он тебе покажет, что нужно делать, — говорит дядя Алексей и легонько дёргает вожжи. — Н-но! Застоялась, голубушка!

Телега, глухо скрипнув, трогается. В том месте, где с клеверов она поворачивает на дорогу, дядя приостанавливается и машет рукой.

Последний раскалённый уголёк солнца ещё светится на самом краю земли.

— Завтра нам придётся одним управляться, — говорит дедушка. — Идём-ка поужинаем.



## СОДЕРЖАНИЕ

Е. Моряков. ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ . . . . .	5
Андрей Платонов. КОРОВА (Отрывок из рассказа).	7
Андрей Платонов. СУХОЙ ХЛЕБ . . . . .	15
Екатерина Серова. ОТЧЕГО ТЫ, РОЖЬ, ЗОЛОТАЯ? .	24
Леонид Пантелеев. НА ЯЛИКЕ . . . . .	25
Самуил Маршак. «БУМАГУ СДЕЛАЛИ ДЛЯ НАС...».	44
Чингиз Айтматов. МОЙ КОНЬ, ТЫ МОЙ БРАТ (От- рывок из повести «Ранние журавли») . . . . .	45
Григоре Виеру. «ПОЛОЖИТ В ЗЕМЛЮ ЧЕЛОВЕК ЗЕРНО...» . . . . .	58
Фёдор Абрамов. НА СЕНОКОСЕ (Отрывок из рома- на «Две зимы и три лета») . . . . .	59
Глеб Горбовский. МУСКУЛЫ . . . . .	76
Николай Григорьев. ДЯДЯ РУСАКОВ И МАЛЬЧИКИ .	77
Валентин Берестов. ВИРА — МАЙНА . . . . .	104
Виктор Астафьев. ПЕСНОПЕВИЦА . . . . .	105
Агния Барто. МАЛЯР. . . . .	114
Николай Внуков. МЕДОГОН . . . . .	115

*Составитель*  
**БАНК НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА**

*Для младшего школьного возраста*

## **ДЕНЬ РАБОТОЙ КРАСЕН**

Ответственный редактор Н. Г. Наан.  
Художественный редактор В. Н. Данилов.  
Технический редактор Л. Б. Куприянова.  
Корректоры В. Г. Арутюнян и Т. Г. Янина.

ИБ 8893

Сдано в набор 26.04.86. Подписано к печати 28.08.86. Формат 70×100<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Шрифт литературный. Усл. печ. л. 10,4. Усл. кр.-отт. 43,56. Уч.-изд. л. 7,38. Тираж 150 000 экз. Заказ № 61. Цена 95 коп. Ленинградское отделение орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательства «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 191187, Ленинград, наб. Кутузова, 6. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 193036, Ленинград, 2-я Советская, 7.

**Д 34    День работой красен: Рассказы. Стихи./Рис.**  
**К. Ли. — Л.: Дет. лит., 1986. — 127 с. ил.**

**В пер.: 95 коп.**

Рассказы, стихи и отрывки из прозаических произведений известных советских писателей, в которых рассказывается о труде и людях труда.

**P2**







